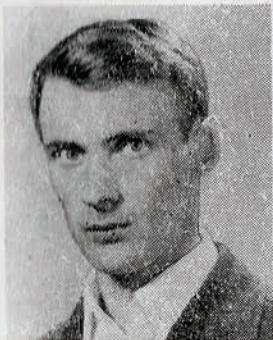


36 коп.

Б. Кравченко

● Первая книжка писателя



Борис Евгеньевич Кравченко родился в 1945 году в городе Петрозаводске. Он рано начал трудовую жизнь, работал на лесопунктах Карелии, Урала, монтажником на буровых в Тюменской области. Ныне работает бульдозеристом в городе Кондопоге КАССР.

Б. Кравченко — участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей.

Первый рассказ опубликован в журнале «Север». Печатался в еженедельнике «Литературная Россия» и других периодических изданиях.

ЗАБЫТОЕ
ТЕПЛО



К 78

Борис Кравченко

**ЗАБЫТОЕ
ТЕПЛО**

Рассказы



ПЕТРОЗАВОДСК «КАРЕЛИЯ» 1981

Кравченко Б. Е.

К77 Забытое тепло: Рассказы.—Петрозаводск: Карелия, 1981.—128 с.

Первая книжка молодого автора — участника Всесоюзного совещания молодых писателей. Рассказы Кравченко невелики по объему, но ему на нескольких страницах удается показать целый мир, где есть характеры, судьбы, время. В рассказах поднимаются темы нравственности, труда, нашей современности.

К 70302—060
М127(03)—81 26—81

Р2

© «Карелия», 1981

О БОРИСЕ КРАВЧЕНКО

Борис Кравченко нелегко входит в литературу. Давно уже заметил этого уроженца Петрозаводска и нынешнего жителя Кондопоги родной журнал «Север», напечатав несколько коротких его рассказов,— длинно писать Б. Кравченко вообще не может и не хочет.

Прошли годы, и состоялась новая публикация, на этот раз в Москве, в еженедельнике «Литературная Россия», давшем целую подборку рассказов начинающего писателя. Кравченко замечен, он становится участником Всесоюзного совещания молодых писателей, имеет большой успех, его приглашают на телевидение, радио; журнал «Литературная учеба» печатает самый большой из всех его рассказов «Поселковый почтальон». Кравченко уже поверил было, что добрый ветер наполнил его паруса. Ах нет, снова мертвый штиль, паруса обвисли.

Из редакций журналов, сгоряча расхвавших рассказы молодого кондопожского бульдозериста, которого дружно признали «талантливым» маститые руководители семинаров, косяком идут отказы, которые Кравченко в своих горьких и недоуменных письмах ко мне называл странным словом «отлупы». Его упрекали за то, что пишет коротко, просили присыпать рассказы страниц на двадцать-тридцать. Получал Борис Кравченко упреки и такого рода: мол, стыдно русскому рабочему человеку писать «как какойто Хемингуэй». Этот удар едва не оказался нокаутом для молодого писателя с тонкой, еще не успевшей огрубеть в литературных испытаниях кожей...

Б. Кравченко рано начал трудовую жизнь, работал на лесопунктах Карелии, Урала, монтажником на буровых в Тюменской области, водил грузовик, потом стал бульдозеристом. Он приобрел немалый трудовой и жизненный опыт. Он самобытен до мозга костей, пишет лишь о том, что знает по собственному опыту, своими собственными скромными, точно поставленными словами. Он очень долго, даже мучительно долго работает над каждым крошечным рассказом, добиваясь целомудренной краткости и полного соответствия слов сути изображаемого. И лаконизм письма, который, кстати, никогда — до возобладания в нашей литературе густой, многословной прозы «деревенщиков» — не считался недостатком, наоборот, достоинством: это его собственный, а не заимствованный у кого-либо способ излагать свои мысли и чувства.

Сейчас приметно общее движение молодой русской прозы в сторону лаконизма, лапидарности. Б. Кравченко пришел к этому ранее других. Он избежал плена знаменитыми ему образцами густописи, и рано нащупав свою собственную манеру, стал ее разрабатывать, огорчаясь, но не смущаясь непониманием. Его верность избранному пути была вознаграждена: снова «Север», затем «Литературная Россия» публикуют циклы кравченковских рассказов, и вот уже издательство «Карелия» выпускает первый сборник молодого автора, включающий двадцать пять рассказов. Это настоящее вступление в литературу.

Я верю в будущее короткого советского рассказа, который после долгого перерыва вновь подхватил чеховскую традицию, плодотворную и в изображении сегодняшнего мира. Я верю в писательское будущее Бориса Кравченко, человека одаренного, горячего и, что особенно важно в непосильном деле новеллистики, упрямого труженика.

Юрий Нагибин

Отцу и матери посвящаю

ЗАКОН СТРОЙКИ

Бульдозер стоял рядом с бытовкой. Димка подошел к нему, сунул руки в карманы. Хорошего настроения, с которым он шел на свою первую самостоятельную работу после окончания ГПТУ, как не бывало. Там, в гараже, Димка думал, что механик даст ему если не новый, то хоть мало-мальски сносный бульдозер, а тут развалюха какая-то. Не вытаскивая рук из карманов, он медленно обошел его, вздохнул, залез в кабину, огляделся. В кабине было грязно. Полик в разводах масла, сиденья обшарпаны, в углу, над помятым ведром, на торчавшем болту висела веревка. На одном конце ее был узел, а на другом коротенькая палочка.

«Ручной стартер», — подумал Димка, вспомнив, что именно так называли старые механизаторы эту штуковину, с помощью которой ему надо будет заводить пускач. Под сиденьем кроме согнутой в дугу монтировки да ржавого ключа ничего не было.

«Может, не заведется? — с надеждой подумал он, с ведром в руке вылезая из кабины и подходя к стоявшей неподалеку железной бочке, доверху наполненной водой. В бочку был опущен конец шланга, протянутого от бытовки. Из него в бочку цедился пар. — Тогда можно будет вернуться в гараж, и механик даст другой».

Димка потрогал воду — она была горячей. Набрав воды, он открыл капот, закрыл кранчик в радиаторе, в блоке и стал заливать воду. Горловина в радиаторе была маленькой, дул ветер, смахивая струю на сторону, и ему вместо положенных пяти ведер пришлось залить семь.

Бензин в бачке был, уровень масла в поддоне на отметке. Димка выключил декомпрессор, включил бендинг, намотал веревку на маховик пускача, рванул. Пускач разразился безудержным таращением. Дождавшись, когда вентилятор хорошо раскрутится, Димка включил декомпрессор. Двигатель, выплюнув из нутра густую черную порцию дыма, довольно зарокотал, подрагивая от нетерпения.

Странное дело, но вместе с утробным рокотом двигателя к Димке пришло хорошее настроение. Он уже веселее смотрел на лежавшую перед ним огромнуюстройку.

В кабине потеплело. Запахло соляркой. Из бытовки высыпали рабочие. Один из них, пожилой, в брезентовой робе, подошел, посмотрел на Димку, на бульдозер, снова на Димку, недоуменно спросил:

— Ты машинист, что ли?
— Я! — Димка с вызовом посмотрел на него.— А что?

— Да так, ничего,— пожилой пожал плечами.— Работать-то на нем умеешь?

— Учили.

— Учили, говоришь,— рабочий усмехнулся.— Ну-ну, посмотрим, чему там тебя научили. Ладно, поехали.

Димка выжал сцепление, включил скорость, медленно отпустил сцепление. Бульдозер, приминая грязь, охотно двинулся с места. Димка поерзal на сиденье и, не в силах сдержаться, улыбнулся.

— Значит так,— уронил пожилой рабочий, потирая подбородок.— Сначала перетащить компрессор, затем... В общем, без работы не останешься. Давай двигай.

Стройка ожидала. Где-то в глубине ее, словно примериваясь, ударила сваебойка. Ударила, помолчала, словно прикидывая, ладно ли получилось, и зачастila с приыханием. Где-то сурово и надежно зарокотал сильный двигатель, частой скороговоркой ему вторил отбойный молоток, и кто-то, заглушая шум машин, заорал во все горло: «Поше-ел!»

— Да ты, паря, не волнуйся, не спеши,— посоветовал Димке один из рабочих, когда он несколько раз пытался и не смог подать задним ходом компрессор в небольшой проем.— Спешка, она только при ловле блох нужна. Ты понемногу, понемногу... Во-о!.. Теперь чуть влево. Та-ак. Теперь прямо. Хорошо! — рабочий подмитнул, отцепил компрессор, махнул рукой.— Научишься. Первый блин, он всегда комом. Вот, к примеру, моя старуха за всю жизнь столько блинов перепекла — пропасть, а все равно первый блин всегда комом. Я ей и говорю: начинай сразу со второго — так

не может! — рабочий рассмеялся, сдвинув на затылок кепку. Невольно рассмеялся и Димка. Облегченно.

Он перетащил сварочный аппарат, потом стал засыпать траншею. Стемнело. Зажгли прожектора. Они вытарашили удивленные глазищи на стройку, словно силясь понять, что здесь происходит. Голубые огни сварок стали еще голубей. Они перемигивались, словно сообщая друг другу о чем-то недосказанном, им лишь понятном.

Димка вдруг почувствовал, что устал. Особенно плечи и запястья рук. Радостное чувство сменилось раздражением. Ему хотелось хоть минутку отдохнуть, но стройка как набрала нужный ритм, так уже не сдавляла. Бульдозер рокотал успокоенно.

— Устал? — спросил пожилой рабочий.

— Устал, — честно признался Димка.

— Я тоже устал как черт. Ну ничего, скоро обед. Отдохнем. А пока съезди к сваебойке, подтащи пару свай.

— Ладно.

На обед в бытовку Димка шел самым последним. Стройка стихала. И лишь где-то в глубине ее, словно толчки сердца, раздавались глухие размеренные удары.

В бытовке было тепло. По-домашнему уютно потрескивали дрова в разожженной буржуйке. Рабочие сидели за столом, обедали и как ни в чем не бывало говорили о разной разности, смеясь и подшучивая друг над другом.

«Двужильные они, что ли?» — подумал Димка, с удивлением глядя на тех, кто еще совсем недавно на краю траншеи, вытирая со лба желтые при свете прожекторов капли

пota, в мать и перематывал какую-то тру-
бу, которая куда-то не лезла.

— А ты чего? «Тормозок» с собой не
взял? — спросил кто-то, когда он плюхнулся
на скамейку.

Димка дернулся плечами. Ему сейчас не
только есть, шевелиться не хотелось. К тому
же от тепла клонило в сон.

— А ну садись, — тоном рассерженного от-
ца сказал пожилой, наполняя кружку кефи-
ром и пододвигая бутерброд. — Ешь.

— Не хочу, — Димка вяло отмахнулся.

— Он талию соблости хочет, — хохотнул
кто-то.

— Давай, давай, не стесняйся, — рабочие
отвернулись и заговорили о чем-то своем.

Обед кончился быстро. Когда Димка вы-
шел из бытовки, небо было усыпано звездами
и пахло легким морозцем. Он забрался в ка-
бину и только было хотел развалиться, как
подошел рабочий:

— Зарой траншею. Только осторожней за-
рывай, под углом, там у нас труба положена,
можешь свернуть. Сделаешь — езжай в кот-
лован...

— Да вы что? С моего бульдозера верто-
лет хотите сделать?! — закричал Димка. —
Вы что, только и ждали, когда я работать
приду?!

— Ждали, — спокойно ответил рабочий
и ушел.

Конец работы пришел как избавление.
Димка погнал бульдозер к бочке. Ехать через
всю стройку было далеко, и он поехал в объ-
езд по разбитой за день десятками машин до-
роге. До бочки оставалось рукой подать, ког-

да бульдозер, словно упервшись во что-то
непреодолимое, остановился, двигатель стал
глохнуть. Димка, холода, выключил скорость,
спрыгнул в жадно чавкнувшую грязь, по-
смотрел и замер. Правая гусеница сошла со
всех катков внутрь. Самое наихреновое дело,
говорили старые механизаторы. Чуть не плача
от усталости, злости и еще от чего-то, Димка
залез в кабину, попробовал подать назад, но
двигатель глух. Развернуться левой гусени-
цией Димка побоялся — было темно.

Стройка стихала. Ухнув, словно поставив
точку рабочему дню, замолчала сваебойка,
затих компрессор.

Димка вылез из бульдозера, кое-как нашел
в грязи булыжник и чуть не плача принялся
садить им по вылезшему из гусеницы пальцу.
Но гусеница была натянута по самую завяз-
ку, и палец торчал, словно приваренный.

— Ну, что тут у тебя случилось?

— Что-что? — яростно выкрикнул Димка. —
Не видишь, что ли? Иди, раз идешь...

— Ну-ну, — буркнул рабочий и ушел.

Булыжник был холодный, от грязи скольз-
ил в руке.

Вдруг яркий свет залил бульдозер и Дим-
ку. Он обернулся. Еще один прожектор по-
нерупил свой святящийся глаз. Затихшую
стройку распорол густой рев, раздалось тяже-
лое шлепанье гусениц, торопливые шаги, и не
успел Димка толком разобраться что к че-
му, как невесть откуда взявшиеся люди под-
цепили его бульдозер за одну сторону попе-
речной балки опущенным крюком тяжелого
крана, приподняли, выволокли ломами гусе-
ницу, и бульдозер встал на место.

— Ну вот и порядок... Давай гони на место и сливай воду.

Слив воду, Димка увидел, что в отдалении, негромко переговариваясь, стоят рабочие. «Кого это они ждут?» — подумал он.

— Эй! Димка! Долго ты там бахахатся будешь?! — послышались приглушенные голоса.

— Или, думаешь, сам холостяк, так и остальным торопиться некуда.

ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ

— В общем, сделаем так,— сказал я, когда мы вошли в лифт.— На этаже выходи первый и не останавливаясь — налево. Номер 606. Портфель давай сюда, меньше внимания. Договорились?

Он кивнул.

— Тебя как зовут?

— Виктор.

— Борис.

...Я встретил его у входа в гостиницу «Юность», в которую возвращался, купив билет на поезд. Он стоял у лестницы, оглядываясь и перекладывая из руки в руку большой кожаный портфель.

— Извините,— негромко окликнул он, когда я с ним поравнялся.— Вы, случайно, на совещании молодых писателей не были?

Я остановился.

— Был, а что?

— Понимаете,— он запнулся.— Я тоже на совещание приехал, но, как видите, опоздал.

«Ничего себе, опоздал,— подумал я.— Совещание шло шесть дней... Да если бы и не опоздал, а приехал в самом конце, толкуюто...»

— Я был бы очень благодарен,— продолжал он, краснея,— если бы вы помогли мне провести эту ночь в гостинице. Понимаете, в Москве у меня знакомых нет... А завтра я уеду. У меня уже и билет куплен. Вот,— он суетливо сунул руку в карман пиджака.

— Какой разговор?— я пожал плечами, отдал ему свой пропуск и сказал, чтобы ждал меня у лифта, а сам прошел следом, предъявив уведомление, что я являюсь участником совещания молодых писателей...

Дежурной по этажу на месте не было, коридор был пуст, непривычно пуст.

— Вот моя кровать, устраивайся,— сказал я, когда мы вошли в номер.

Он кивнул, с интересом огляделся.

— Хорошо тут как! И телефон есть. Вот только звонить некому.

— За время совещания досталось этому телефону,— сказал я, отдавая ему портфель.— Теперь отдохнет, бедняга...

Он подошел к окну, поставил портфель на подоконник.

— Что ж ты поздно приехал? — спросил я.— С работы, что ли, не отпустили?

— С работы-то отпустили,— потерянно уронил он, по-прежнему глядя в окно.— А жена... Жена у меня... Я уж ее уговаривал, уговаривал, а она...—он махнул рукой.— Говорит, что и без меня в Москве доморощенных поэтов хватает.

— Доморошенный... — усмехнулся я. — Да здесь иного доморошенного лучше принимали, чем того, кто по вызову и с дипломами.

— Правда? — он круто обернулся.

— Конечно.

Он вздохнул и сник, глядя в одну точку.

— Что пишешь: стихи, прозу? — нарушил я затянувшееся молчание.

— Стихи, — торопливо ответил он.

— Давно?

— Лет пятнадцать.

— Книги своей нет?

— Книги?! — он удивленно посмотрел на меня. — Что вы, какая книга. Я только в районной газете печатаюсь. Хотите, почитаю?

Я невольно поморщился. За время совещания я столько стихов переслушал, что...

— Да не поэт я... Я в стихах ни бум-бум.

Он отвернулся и после короткого молчания спросил:

— А ребята собирались в комнатах каждый вечер?

— Каждый, — я махнул рукой. — Не в одной, так в другой соберутся и читают до двух-трех ночи. Иной раз просто гнать хотелось.

— Ругались? — он заинтересованно посмотрел на меня, сел рядом.

— Да как тебе сказать... Бывало, но в рамках... По крайней мере, до кулаков дело не доходило.

— Говорил же я своей, — горячо воскликнул он, хлопая ладонью по колену. — А теперь когда? Теперь уже мне совсем поздно...

— Мало ли что жены говорят. Взял бы да и поехал. Записку оставил и тю-тю... Пускай потом кричит сколько влезет.

— Мне так нельзя, — он покачал головой. — Она у меня нервная. Врачи говорили... Чуть что и в обморок.

Я промолчал.

— Кому вот я теперь свои стихи покажу? — растерянно протянул он, глядя в пол. — Сколько лет пишу... А может, я их совсем и не зря писал?

— Съезди завтра в СП, — предложил я. — Поговори, объясни. Стихи оставь. Тебе ответят. Ты их посыпал в какой-нибудь журнал?

— Отсыпал.

— Ну и?

— Надо больше читать классиков, современных...

— Отписываются, — перебил я. — Тебе надо поговорить с глазу на глаз. А на какую тему стихи?

— Разные. О природе больше. О любви. Разные...

— Прочти.

— Правда?! Я сейчас.

Он достал из портфеля и положил на столик огромную рукопись, суетливо заперелистывал.

— Давай, лучше я сам вытащу, — предложил я и, привстав, взял один листок сверху, другой снизу.

— Как лотерейные билеты, — улыбнулся он, беря листки.

Я закурил.

— Вот слушайте. Я, правда, с выражением не умею.— И он, не отрывая глаз от стихотворения, стал читать:

По городу долго мы молча бродили,
Свидания таял срок,
Мы оба молчали, за нас говорили
Пушкин, Есенин, Блок.
Потом попрощались мы на вокзале,
Я шел домой, одинок,
И думал: «Не все о любви сказали
Пушкин, Есенин, Блок...»

— Нравится? — тихо спросил он, напрягшись.

— Понравилось,— честно признался я.— Правда, я не спец в поэзии.

— Главное, чтоб на душу легло,— горячо перебил он.— Понимаете... А вот еще. «Ястреб».

Падал сумрак тенью ястребиной,
Хищник чуть угадывался в нем...
Только вдруг ударили дробины
Беспощадным, жалящим дождем!
Быстрые мгновения сменялись,
Он очнулся. В мире рассвело.
Подходили люди — и смеялись,
Сапогом ступая на крыло.
Он молчал — ни клекота, ни крика, —
Онемело глядя в небеса,
И горели яростно и дико
Круглые и желтые глаза.
Но огонь из вороненой стали
Новой болью не ударил, нет,
Только звезды тихо угасали
В медленной тягучей тишине.
Только дали ясные синевы,
Их ничья не трогала беда,
Лишь в его глазах они тускнели,
Уходили выше — навсегда...

Он замолчал. Молчал и я. Второе стихотворение мне понравилось больше. Я достал

ручку, записную книжку и, ни слова не говоря, переписал оба.

Я покинул гостиницу в двенадцатом часу ночи. Мы попрощались. Сидя в поезде, вдруг вспомнил и выругал себя за то, что не взял у него адрес...

ЦВЕТНЫЕ СТЕКЛЫШКИ

— Что-то я вам счас скажу, бабоньки! — пропела Евдоха, прикладывая к ярко размалеванному рту густо надушенный платок.— Что скажу-... Ну ввек не догадаешься...

Женщины переглянулись.

— Танька-то в Жорку втюрилась! Вот честное слово. Собственными глазами видела!

О том, что Евдоха любит приврать и что ее честное слово и ломаного гроша не стоит, во дворе знали все, но то, что она выдала сейчас, переходило всякие границы. Во дворе хорошо знали и Таню, тихую, робкую на слово девушку, с отличием окончившую десятый класс, и Жору, симпатичного, но недоразвитого парня, целыми днями бродившего по двору с низко опущенной головой в поисках разноцветных стеклышек.

— А ты, случайно, не того? — повертела у лица длинным и тонким, словно указка, пальцем жадная до ругани Серафимиха.

— Сама ты того,— огрызнулась Евдоха.— Ты что, думаешь, что я глухая и слепая, как некоторые?

Темное и дряблое лицо Серафимихи смялось, и она уже было собралась выложить Евдохе все, что о ней думает, и даже боль-

ше, как со стороны игравших за столом в лото мужиков раздался раздраженный голос:

— Ты что там плетешь, Евдоха? Если язык чешется, так вон забор рядом.

На лице Серафимихи промелькнула злорадная улыбка, а на лицах остальных женщин — этакая сладкая радость ожидания словесной перепалки.

Но Евдоха преспокойненько уселилась на край скамьи, небрежно закинула ногу на ногу, протянула:

— А то и говорю, что Танька твоя в Жорку втюрилась.

Наступило молчание. Было слышно, как постукивают друг о друга бочонки в мешочек.

— Ты, Евдокия, — выдавил мужчина, — когда что говоришь — головой думай... А то, смотри, недолго и научить.

— Ты по себе о других-то не суди, — небрежно отозвалась Евдоха.

Женщины прыснули смехом. Мужчина покраснел, приподнялся.

— А ты сядь, сядь, — Евдоха махнула рукой. — За рукоприкладство статья имеется.

— Сядь, Аркадий, — посоветовал кто-то из мужиков. — Ну ее к черту.

Евдоха одернула юбку, обвела всех маленькими, не в меру подкрашенными глазками и, подавшись вперед, затараторила, то и дело поглядывая на Аркадия:

— Сижу я давечь у окна, смотрю, Таня выходит с книгой. В садик вошла, села. И только она, значит, села, как Жорка появляется. Ну, думаю, обратно свои стеклышики собирать начнет. Так нет. Увидал Таню, встал как вкопанный и смотрит, смотрит,

словно впервые увидел, да пуговицу на пиджаке вертит, а потом тихонечко так, словно кот к мышке, подходит да и рядом садится. Ну, думаю, сейчас ему Таня от ворот поворот. А она... — Евдоха замолчала, обвела всех взглядом, — она книжку отложила и ему улыбается.

— А он? — нетерпеливо спросила одна из женщин, не сводя глаз со рта Евдохи.

— А он сидит. Сидит, смотрит на нее да стеклышки свои из руки в руку пересыпает. А я и думаю: что ты, красивая да умная, этой бестолочи говоришь. Раз в двадцать лет ума нет, так и не будет. Ой, думаю, договоришь ты, девка. Он что? Дурной! А с дурака взятки гладки. А что, нет? — Евдоха зыркнула по сторонам и, понизив голос, продолжала. — Потом, смотрю, он ее своей ручищей по плечу гладит и так это смотрит... А потом, вижу, рядышком пошли, словно равные. Я из дома выскочила — и следом. Мало ли, думаю, что может сделаться. Они шасть в беседку — и сели, словно голубки. А она ему все что-то говорит, говорит, а он слушает да ручищи свои комкает. Потом разошлись. Я-то поначалу думала, мол, жалеет она его, так нет, на следующий день то же самое. Э-э, думаю, сколько раз жалеть-то можно. Пожалела раз и хватит. Ну, разве не любовь это? А? — Евдоха всем телом повернулась к барабанящему пальцами по столу Аркадию.

— Господи! Какой ты была, Евдоха, дурой, такой и осталась, — устало проговорила Алена. — Нашла из-за чего сыр-бор разводить. Ну встречаются, но любят. Что из этого?

Евдоха опешила. Рот ее полураскрылся, глаза зашныряли с лица на лицо, словно ища поддержки.

— Да ты что! — всплеснула она руками. — Встречаются! Да он же недоразвитый. Долго ли до беды. Девка она молодая, ей сейчас красоту подавай, а не нутро. У тебя еще маленькая. Вот обожди, вырастет, не так запоешь...

— Будто ты своих вырастила, — усмехнулась Алена, поправляя прическу.

— Вырастила не вырастила — не твоя забота. У меня жизненный опыт. Я жизнь прожила.

— А может, она просто жалеет его? — встряла Серафимиха. — У нас, баб, этого добра больше чем нужно.

— Может, и жалеет, — охотно согласилась Евдоха. — Да только от жалости до любви один шаг. Я вон одного шалопая ножкала, а теперь всю жизнь маюсь. Чтоб ему пусто было...

— Умная девушка должна оскорбиться, зная, что ее полюбил такой человек, — вклинилась толстая, сидевшая особняком женщина.

— Любовью нельзя оскорбить, — тихо сказала Алена. — А то, что он больной, не его вина.

— А, брось ты! — Евдоха пренебрежительно махнула рукой. — Виноват, не виноват. Дурак он — и дело с концом. Какая уж тут любовь. Чтоб любить, голову надо иметь, а не кочан капусты, — и, повернувшись к Аркадию, с осторожинкой в голосе добавила:

— А ты чего молчишь? Дочка же у тебя, не парень.

— Не слушай ты ее, Аркадий, — попросила Алена. — Она весь мир загадить готова.

— Ишь ты, загадить, — прошипела ей вслед Евдоха. — Тоже мне чистюля нашлась. Живет с мужем всего ничего, а гонору...

— Врешь ты, Евдоха, — уронил Аркадий. — Врешь все.

— Я-а! Вру? Да когда я врала?

— А ну тебе...

— А ну пошли, — Евдоха решительно поднялась. — Пошли. Сейчас сам увидишь, как я вру. Ну, чего сидишь?!

Аркадий пожал плечами, нехотя встал.

— Только тихонечко, — прошептала Евдоха. — Спугнем еще. — Она осторожно выглянула из-за угла дома. — Сидят. Рядышком... Глянь. Глянь. Датише вы, — прошипела она Серафимихе и толстой. — Не слышно же ничего.

В тишине вечера слышался негромкий девичий голос:

— Ты, Жора, главное, поменьше волнуйся. Вот увидишь, все будет хорошо. И сам на себя зря не наговаривай. Ну и что из того, что порой забываешь. Я тоже забываю.

— Татьяна! — вздрагивающим от напряжения голосом закричал Аркадий.

Девушка вскочила.

— А ну марш домой! Живо!

— Чего он на тебя кричит? — Жора пересел удивленный взгляд с Тани на Аркадия. Тания покачала плечами. Медленно подошла к отцу.

— Чтоб я тебя больше с этим дураком не видел,— процидил он.— Поняла? Я тебя спрашиваю??!

— Он не дурак. Он больной.

— Больной... Таким больным место знаешь где? А ну, что у тебя в руке?

Таня медленно разжала ладонь.

— Стекляшки собирать начала! — вышел из себя Аркадий.— Этому дураку уподобилась. А ну выбрось! — и ударил ее по руке.

Стекляшки разноцветными звездочками с еле слышным шорохом упали на землю.

— Я это запомню,— тихо уронила Таня и, не глядя на отца, медленно пошла от дома... Жора долго смотрел ей вслед.

БИЧ

Эту ночь Тарас спал в общежитии, в сущилке. Под головой — пальто, рядом — обшарпанная сумка с веревкой вместо ручки. От развешанных по отопительным батареям фуфаек, портянок несет едкой, выворачивающей нутро вонью. Жарко. Душно.

Лицо Тараса, крупное, мятое, усыпано капельками пота. Рот с запекшейся в уголках губ слюной — приоткрыт. Он дышит жадно, словно после долгого изматывающего бега.

Общежитие спит. Лишь иногда в коридоре раздается скрип двери, шаркающие шаги, звук льющейся воды, снова шаги, скрип двери — и снова тишина...

Тарас пошевелился. Открыв глаза, какое-то время бессмысленно смотрит в потолок, облизывая сухим языком губы, судорожно дергая

кадыком. Затем вытирает лицо рукавом пиджака и, бормоча что-то, прислушиваясь, начинает медленно одеваться. Натянув пальто и стряхнув с него прилипший окурок, берет сумку, осторожно приоткрывает дверь, слушает и выходит в коридор. Коридор пустой, гулкий.

— А я-то думаю, кто там с раннего утра? А это обратно ты, чучело.— Сидящая на вахте неопрятно одетая женщина приподнимается.

Тарас останавливается и, глядя мимо нее в окно, хрипло тянет:

— Дай воды?

— А милиции тебе, случайно, не надо? — сузила глаза женщина.— Там тебе не только дадут, но и поддадут. А ну выметайся отсюда. Воды ему. Ладно бы человеку подать, а то, тьфу...

Тарас усмехнулся, медленно оглядел ее с ног до головы.

— Чулки подтяни, Софи Лорен.

— За собой смотри! — взрывается та.— Сам хуже грязной тряпки, а корчит из себя...

— А ты чистая? — кривит губы Тарас.

— Можешь представить, чистая! — женщина унирает руки в бока.

— А-а... — Тарас машет рукой.— Какая разница. Тряпка, она и есть тряпка.

— Топай, топай, бич чертов.

Город спал. Звук жестко хлопнувшей двери шингонговским шариком заметался от одного здания к другому. Тарас глубоко вздохнул, оглянулся на общежитие, сплюнул и, нещадно шаркая вконец расплзшимися полуботинками, поплелся по середине улицы.

Напившись из торчавшего из стены дома пожарного крана отдающей ржавчиной воды, зашаркал дальше, держа на сгибе локтя сумку.

В конце улицы крупнопанельные дома смилились деревянными. Прежде чем войти в маленький, изрядно захламленный двор, Тарас подошел к стоявшей у дороги водопроводной колонке, подставил под тугую струю голову, фыркнул, поежился.

Во дворе Тарас свернул вправо, к сараикам, около которых высилась переполненная отходами помойка. На ней рылся в объедках здоровенный пес. При виде Тараса он неохотно отбежал в сторону, лег.

Сложив в сумку найденные бутылки, Тарас направился в соседний двор. Вскоре сумка была полной. Бутылки негромко позвякивали при каждом шаге.

В сторону вокзала Тарас шел дворами. Шел быстро. Не доходя до вокзальной площади, круто свернул влево, в сторону озера.

Озеро было сонным. На его глади, розовой от заалевшего неба, белыми поплавками лежали чайки. Тарас снял пальто, полуботинки, закатал выше колен брюки и, взяв сумку, вошел в воду. Осторожно ступая, добрался до торчавшего из воды валуна, взобрался на него и стал мыть бутылки, тщательно проветря горлышко каждой.

Выглянувшее из-за горизонта ярко-красное, похожее на кардинальскую шапку солнце уронило прямо к нему золотистую дорожку. Проснувшиеся чайки распороли набухшую за ночь тишину жалобным криком. Издалека послышался протяжный гудок тепловоза, и вско-

ре на празом берегу появился состав. Он был тонкий и длинный, как свист.

Бычные бутылки, Тарас плеснул в лицо теплой, пахнущей камышом воды, вышел на берег и, усевшись на пальто, обхватив колени руками, стал молча смотреть в сторону озера, туда, где на небольшом островке стояла заброшенная деревушка.

Состав ушел. Вскоре послышались неторопливые шаги, и на берегу появился высокий, хорошо упитанный мужчина с большим портфелем. Увидев Тараса, он придержал шаг, кивнул и, достав из портфеля полотенце, мыло, подошел к воде.

— Закурить есть? — спросил Тарас, когда мужчина стал энергично вытирать шею.

— Есть.

— С поезда? — Тарас кивнул в сторону вокзала.

— С него. Спички есть?

— Есть.

— А я вот в командировку приехал, — мужчина сладко потянулся.

— Надолго? — поинтересовался Тарас, жадно затягиваясь.

— Да нет, к сожалению, — мужчина присел рядом. — Знаешь, люблю командировки. Сам себе хозяин. Только в командах и чувствуешь себя человеком. А так, ну словно тебя кто за полу держит. Ты местный?

— Местный.

— Женщины подходящей на примете нет?

— Нет.

— Жаль. Придется самому искать, — он вздохнул и, увидев сумку, из которой торчали горлышки бутылок, спросил: — Твоя?

Тарас кивнул.

Мужчина с любопытством оглядел его, потер подбородок:

— И тебе нравится такая жизнь? Ты уж извини, что я так, в лоб.

Тарас посмотрел на выписывающую замысловатые пируэты чайку, усмехнулся:

— Я тоже, знаешь, в командировке. Бессрочной...

Мужчина хохотнул. Помолчав, спросил:

— А жена как?

— Нет жены,— хмуро уронил Тарас.— Зарезал я ее.

— Как зарезал? Ты чего? Шутишь?

— Дай закурить.

Мужчина протянул папиросу, чиркнул спичкой.

— Хирургом я был,— глухо заговорил Тарас, глядя в сторону.— Она хотела, чтоб я операцию... Пить начал... Думал, забудется. Пью вот...

— Но ведь бывает,— мужчина кашлянул.— Нельзя же всю жизнь болью жить. Боль преодолеть можно.

— Преодолеть боль...—тихо сказал Тарас.— А если я не могу? Если не хочу забыть эту боль?— Он круто обернулся.— Любовь я свою зарезал, понимаешь, любовь! И преодолеть, забыть... Все вы сильные, когда горе не свое, чужое.

— Но ведь и так тоже жить нельзя.

— Это почему же?— насмешливо улыбнулся Тарас.— Очень даже можно. Чем вы лучше меня? Я грязный, так я весь на виду. А вы? Приехали — и сразу бабу искать. А до-

ма небось жена, дети. Вернетесь — и чистенький...

— Пойду я,— мужчина поднялся.

— А я тебя и не держу. Благодарю за паникозы.

...Когда Тарас проснулся, город уже ожил. Слышались гудки, шум машин, голоса. Надев пальто и взяв сумку, Тарас пошел в город. Шедшие ему навстречу люди сначала смотрели с любопытством. Любопытство сменилось пренебрежением. Пройдя, оглядывались, иные качали головой и, ускорив шаг, шли дальше.

— Благодать,— пробормотал Тарас.— Меня знают все, я — никого.

Перехватив сумку поудобней, зашагал к базару, угол которого уже виднелся из-за дома.

Базар небольшой. Два длинных прилавка, ларьки, чуть в стороне — магазин приема стеклоторы. Особняком — винный магазин с высоким заплеванным крыльцом.

Тарас подошел к магазину приема стеклоторы, сел на пустой ящик из-под вина, закрыл глаза.

— Этот уже тут как тут,— раздался ехидный женский голос.— Как ни приду — он уже здесь.

Тарас приоткрыл глаза и увидел полную, лобротно одетую женщину, державшую в руке сестку с бутылками. Рядом с ней — мужчина, в джемпере, голубой рубашке с белым галстуком; у него тоже была сетка с бутылками.

— И куда только милиция смотрит,— женщина поджала ярко накрашенные губы.— Таких выселять надо. И чем дальше, тем лучше.

— Милиция таких не забирает,— сказал мужчина.— Таких забирать толку нет. С них штрафа не слупишь.

«Интересно,— подумал Тарас.— Сказали бы они мне это в глаза? Вряд ли. Такие только за глаза говорят».

Тарас встал и нарочно покачивающейся походкой пошел к двери магазина. Мужчина и женщина брезгливо отодвинулись.

—...Эту, Тарас, я не возьму, битая,— сказала приемщица.

Тарас пожал плечами, равнодушно отставил бутылку в сторону, сунул деньги в карман и уселся на один из ящиков.

— Это почему битая?! У него битая, у меня битая! — возмущенно проговорила подошедшая к прилавку женщина, вертя в гладких руках бутылку.— Вы, мамаша, верно, слепые. А если это так — идите на пенсию и не морочьте людям головы.— И, тщательно сложив деньги в кошелек, угрожающе сказала: — Я это дело так не оставлю. Мне за эти двенадцать копеек работать нужно.

— Покажите? — Тарас протянул руку, взял с готовностью протянутую бутылку и швырнул ее в проем двери, на булыжник, сунул в руку оторопевшей женщине двенадцать копеек, сказал:

— Мужу на курево.

Женщина задохнулась от возмущения, хотела что-то сказать, но Тарас, не обращая на нее никакого внимания, медленно побрел через дорогу.

ДУШЕВНОБОЛЬНОЙ

Мы покидали кладбище, похоронив хорошего человека. Мы молча шли к дороге по узкой утрамбованной сотнями ног тропинке мимо деревянных и железных оград, из-за которых с памятников нас провожали взгляды давно покинувших нас людей. И от того, что многие смотрели нам вслед улыбаясь, на душе становилось грустно, тревожно и боязно...

Старик стоял в самом конце тропинки, у дороги. Шедшие впереди меня опускали в его протянутую, сложенную лодочкой ладонь копейки. Когда очередная монетка, зябко звякнув, ложилась поверх других, ладонь его издрагивала, словно принимала непомерную тяжесть.

— Помяну,—тихо сказал он, когда я приподнялся. — Спасибо, сынок.

Лицо у него было сухим, темным, с удивительно голубыми глазами, в которых было столько тоски, столько боли, что хватило бы на всех людей...

Кладбищенский сторож, какой-то скомканый, сидел на крыльце избы. Рядом — начатая бутылка вина, граненый стакан. На ключе газеты — огурец, кусок хлеба и щепотка соли.

— Туды,—мотнул он головой в сторону сараи, у стены которой лежали лопаты, грабли, носилки, ведра.— А веревку сюды линай. Смокнет, сгниет, где опосля возьмешь?

Я положил веревку на крыльце, посмотрел в сторону тропинки. Старик стоял на том же самом месте. Выглянувшее из-за тучи солнце

хорошо освещало его лицо. Это было лицо очень старого человека. Я хотел разглядеть его более внимательно, но он отвернулся и медленно пошел в сторону кладбищенских ворот.

— Кто это? — спросил я.

— Это? — уронил сторож, наполняя стакан вином. — Это Владик.

— Кто?

— Владик! Оглох, что ли? Душевнобольной он. Неужто не видел, когда медяки совал.

— И давно?

— Выпить есть? — перебил он, взглянув на меня захмелевшим взглядом. — Нету. Так туды иди. Там машины ждут.

Я пожал плечами.

Владик шел впереди меня в длинном, почти до пят, пальто, из-под которого выглядывали стоптанные задники резиновых сапог. Он шел сгорбившись, сунув руки в карманы.

«Владик... — подумал я. — Пожилой человек, а зовут Владиком». Стало смешно и грустно одновременно.

— Видал? — хохотнул мой сосед, когда автобус тронулся. — Поминальщик идет. Сейчас так напоминается, что потом хоть самого поминай.

Владик шел краем дороги, глядя под ноги, словно тащил за собой что-то очень тяжелое. Когда автобус поравнялся с ним, он остановился, поднял глаза и сразу же опустил.

— Душевнобольной он, — сказал я.

— А-а... — сосед презрительно выпятил губы. — Знаем мы этих душевнобольных по спиртному делу.

Прошла неделя. Я уже забыл о Владике. На девятый день, как принято, я купил бутылку вина и поехал на кладбище. Возле кладбищенских ворот у одной из старух купил букет цветов и маленький самодельный венок.

На кладбище царила тишина. Она была совсем не похожа на ту тишину, которую иногда дарит природа в лесу, на озере, в поле. Она не успокаивала, не лечила. Сочившейся со всех сторон грустью, печалью, непонятным страхом она давила, заставляла сжиматься сердце.

Я посидел у могилки, выпил рюмку вина и только было собрался уходить, как увидел Владика. Он был в том же длиннополом пальто, резиновых сапогах, в серой видавшей виды кепке. Он шел по тропинке, повернувшись лицом в сторону оград. У одной из них, с макушкой могильным холмиком, он снянул с головы кепку, открыл жалобно взвизгнувшую канинку и, присев на коротеньку, темнневшую от времени скамейку, с трудом согнувшись, стал выдергивать сорную траву с бугорка.

Добрый день.

Он с трудом разогнулся:

День добрый.

Родственник? — спросил я после короткого молчания.

— Могила забытая, — тихо уронил он и, немного помолчав, сказал, глядя в сторону: — Много сейчас забытых...

Он порылся в карманах, достал и положил в бугорок дешевую куколку в коротеньком платьице с косичками и несколько ирисок.

Я переступил с ноги на ногу и ушел.

Кладбищенского сторожа я застал на том же самом месте; казалось, что он и не покидал его с того дня.

— Здравствуйте.

— Ну, здравствуй, — он мельком взглянул на меня. — Чего надо? Ежели лопаты, так вон они.

— Да нет, — замялся я. — Вы бы не могли рассказать мне о Владике?

— А на кой ляд он тебе нужен? — буркнул он, взглянув на меня исподлобья. — Живет человек, и пускай себе живет. Всяк по-своему живет, всяк по-своему помирает.

Я промолчал.

— Выпить есть? — спросил он немного погодя.

— Есть.

— Ставь сюды, — он ткнул пальцем рядом с собой, достал из кармана стакан, завернутый в обрывок газеты, выпил, почмокал губами и неохотно заговорил:

— Ладно уж. Раз угостил. Душевнобольной он. Объяснял ведь тебе.

— Не заметил. Человек как человек, — пожал я плечами.

— Медяшку в руку сунул и уж знает. А я его десять лет вижу. «Не заметил...»

— Он что, пьет?

— Дураки не пьют, — резко сказал он и махнул рукой. — Ладно бы пропивал. Все ж какое-то успокоение для души. А то... — он снова выпил. — А то копит. Знаешь, для чего копит? Не знаешь. А ну пошли, покажу. Пошли, пошли. «Не заметил...» Глядеть не только в глаза надо. Привыкли только в глаза смотреть. В душу смотреть надо.

— Сколько ему лет? — спросил я, когда мы, выйдя на дорогу, зашагали в дальний конец кладбища.

— Шестьдесят.

— Никогда б не подумал, — пробормотал я. — На вид ему все восемьдесят.

— Тебе бы столько досталось, сколько ему, — раздраженно сказал он. — У меня война, чтоб ей, стерве... — он выругался, — только друга отобрала. Смиластивилась... Чтоб ей... Тыфу! А у него всю семью заглотила. Ты б его в бане видел. Шрамов, словно кто кнутом отстегал. Да что тело. Душа у него исполосована так, что... А-а, что тебе говорить, молодому. Один хрен, ни черта не поймешь.

Мы дошли до конца кладбища, свернули на одну из тропинок.

— Дочка у него во время войны затерялась, — глухо заговорил сторож. — Младшенькая. Говорят, Лидочкой звали. Искал он ее, искал. Нашел почти. Во время войны, если знаешь... впрочем, откуда тебе знать, в нашем городе детдом был. Так вот, она тут у него от войны пряталась, росла, дожидалась, да не дождалась... померла. Когда хоронили, может, и написал кто на столбике, да время... Сам знаешь. Оно с дождями, ветрами, солнцем. Ну вот, он эти детские могилки и наращивает каждый день. Не один десяток безымянных могилок-то. Пойди угадай, под какой она.

Сторож остановился:

— Куришь? Давай закурим.

Мы закурили.

— Так вот он с того времени оградки на эти могилки и ставит, ну, и что положено. Одна осталась. Вот эта.

Он показал на примитивную, сложенную из кирпичей оградку, за которой, наклонившись, стоял могильный столбик.

— Живет-то он где? — сдавленно спросил я.

— У старухи одной.

Спустя сорок дней я снова приехал на кладбище. Зашел к сторожу. Он встретил меня как старого знакомого.

— А Владик на той могилке оградку ставит, — сказал он, когда я собирался уходить. — Если хочешь, зайди, посмотри.

Я не пошел, не мог пойти... Я боялся, что предложу ему денег...

ВСТРЕЧА

Он ждал письма. Он ждал бы его до самой смерти, и даже дольше, если б это было возможно. Ждал, потому что еще оставалось самое главное, самое последнее, на что так щедра жизнь, — надежда. Когда же время пыталось заставить его сменить гнев на милость, а случалось это обычно по вечерам, когда дом затихал, а его маленькая, насквозь пропахшая табаком квартира жадно прислушивалась к соседней, где раздавалась тихая, ласковая песня матери, убаюкивающей ребенка, он садился к столу, доставал письма девушки, ее фотокарточку и, при克莱ив к своему безбровому темно-красному, как перезревший

помидор, лицу ухмылку, медленно перечитывал их, наполняя пепельницу окурками...

«Здравствуй, Андрюша, любимый мой, — негромко читал он. — Ты уж извини меня, мой хороший, за то, что задержалась с ответом...»

Он замолкал. Жадно затягивался папиросным дымом, цедил:

— «Любимый, хороший...» Дурак! Кому верил? Этой. Чтоб ей, — и, отшвырнув письмо, брал другое.

«...Класс мне достался хороший. Ты был знал, Андрюшка, какие они все смешные и славные! Ой! Ты бы знал, как я трусила, когда пришла к ним в первый раз, ужас просто! Ну, а как ты живешь, мой славный? Ты не переживай. Мы же любим друг друга, правда? А время бежит быстро. Скоро Новый год, и мы с тобой встретимся. Господи, если бы только знал, как я по тебе соскучилась...»

Он снова замолкал, зло смотрел на фотокарточку, выдавливая:

— «Соскучилась...» А это что? А? — выкрикивал он, цапая последний конверт. — Что?! «Извини. Ошиблась. Выхожу замуж.» А я, выходит, для тебя вроде пешки был! Меня, значит, под бой, а тебе победа?! Ну, обожди! Все тебе припомнится! Все! И это! — он хватал себя за лицо скрюченными пальцами. — Если б не это твое письмо, я б не обварился тогда на работе. Я б счастливым был. Что, думаешь, сама живешь, красивая, счастливая, так это тебе всю жизнь будет? Врешь! Есть на земле справедливость. Бог есть! Должен быть! Должен! Потому что мне надо тебе все это сказать. В глаза. А еще лучше, если бы ты сама ко мне пришла. Пришла и сказала:

ла, что ошиблась. И ты знаешь, что бы я тебе сказал? — он ткнул пальцем в фотографию. — Я бы сказал всего два слова: «Пошла вон» — и все, и ничего больше...

И письмо пришло. Пришло, как приходят, наверное, все письма на свете, независимо от того, сколько ты его ждешь — день, год или всю жизнь.

— А все-таки есть бог! — злорадно улыбаясь, воскликнул он, пробежав взглядом первые строчки. — Ну, так я и думал. Ошиблась... И это надо же... Бедненькая... О! Даже отвратительный!.. — он откинулся на спинку стула и рассмеялся мелким колющим смехом. — Встретиться?.. С превеликим удовольствием. Когда? — он взглянул на календарь. — Сегодня. Проездом. Вагон... Ну, а это уже лишнее... Это я уже и слышал, и читал.

Он посмотрел на часы и стал одеваться. Одевшись, подошел к зеркалу, взглянул в него, усмехнулся:

— По-прежнему любишь, говоришь. Ну-ну.

Когда он пришел на вокзал, перрон был еще пуст. На дальнем пути в ожидании встречного стоял товарняк.

— Что ж, подождем, — протянул он. — Мы люди не гордые, дольше ждали, и ничего, дождались.

Когда состав остановился, он подошел к вагону, встал в стороне. Людей из вагона вышло много. Они весело переговаривались, смеялись. Он провожал взглядом каждого пассажира. Ее не было.

— Дрянь, — яростно прошипел он, когда состав тронулся. — Какой была, такой и осталась.

Письмо пришло через несколько дней.

«Здравствуй, Андрей, — прочитал он. — Я не виню тебя за то, что не пришел. Ты был вправе это сделать. Ты добрый, красивый и, наверное, очень счастливый человек. Счастья тебе...»

Он остолбенело смотрел на торопливые строчки и вдруг вспомнил некрасивую толстую женщину, которая, в отличие от других пассажиров, не стояла в очереди у ларьков, а до самого последнего мгновения, поглядывая на часы и теребя в руках носовой платок, медленно ходила по перрону.

Он торопливо взял конверт. Обратного адреса на нем не было.

ПИСЬМО ОТ МАТЕРИ

Письмо было от матери.

В первые дни жизни в городе Венька ждал их с нетерпением, а получив, читал торопливо и жадно. Но уже через полгода вскрывал неохотно, насмешливо улыбаясь, наперед зная о том, что там будет написано.

Каждое письмо, а приходили они каждую неделю, мать начинала всегда одинаково: «Добрый день или вечер, мой ненаглядный, любимый сыночек Венечка! С сердечным приветом к тебе и наилучшими пожеланиями здоровья и счастья пишет тебе твоя мама. В первых же строках своего коротенького письма спешу сообщить, что я, слава богу, жива и здорова, чего и тебе желаю. Спешу сообщить, что живу я хорошо...»

Концовки писем также мало чем отличались друг от друга: «...А в последних строках своего письма очень даже тебя прошу, господом богом заклинаю, не водись ты, сыночек, с плохими ребятами, не пей водки, уважай старших и береги себя. Ведь ты один остался у меня на всем белом свете. Помру я, ежели с тобой что случится. На этом и кончу. Пиши, сыночек. Целую тебя, твоя мама».

И поэтому Венька читал только середину. Читал, снисходительно морщась, удивляясь тому, чем мать живет. Ну что за событие в том, что к Пашке Воронцову забралась и перепортила всю капусту соседская коза, что Валька Утешева вышла замуж не за Степку Рожкина, а за Кольку Замятина, что в магазин наконец-то привезли долгожданные полушалки, которых здесь, в городе, бери — не хочу.

Прочитанное письмо Венька бросал в тумбочку и забывал до очередного, слезного, в котором мать все тем же господом богом просила ответить.

...Венька сунул конверт в карман и по длинному, шумному в послерабочее время коридору общежития пошел в свою комнату.

Сегодня была получка. Ребята собирались в город: гладили рубашки, парили брюки, интересовались, кто куда пойдет, кто с кем встречается.

Венька нарочито медленно разделся, умылся, оделся и, дождавшись, когда комната опустеет, закрыл дверь на ключ и сел к столу. Достал из кармана записную книжку, купленную еще с первой получки, шариковую авто-

ручку, отыскал нужную страницу, задумался...

Буквально час назад, по дороге в общежитие, он встретил знакомого из деревни. Переинувшись парой слов, поинтересовавшись Венькиным заработком и житьем, знакомый, укоризненно покачивая головой, сказал:

— Ты бы хоть матери денег послал. Зима на носу. Дрова надо привезти, напилить, на колоть. А ей на ее пенсию... Сам знаешь. Венька знал.

Прикусив губу, посередине листка вверху он тщательно вывел 126 и провел вниз вертикальную линию. Над левой колонкой написал «Надо», над правой «Сколько». Подумал, достал календарь, подсчитал количество дней до аванса и в левом столбике вывел 12, и в правом знак умножения, цифру четыре и сумму 48. Дальше пошло быстрей: долг — 10, брюки — 30, сберкнишка — 20, кино, танцы — четыре дня по два рубля на день — 8. Остаток — 10 рублей.

Венька хмыкнул. Десятка. Смех один посыпать матери такую сумму. Засмеют деревенские. Потер подбородок и решительно вывел напротив остатка — «на мелкие расходы», подумал: «С аванса вышлю».

Отложив ручку, сунул записную книжку в карман, потянулся и вспомнил о письме. Зевая, поглядывая на часы, достал конверт, вскрыл, достал письмо, развернул. На колене мягко упало три рубля...

ЕФРЕМЫЧ

О том, что его бульдозер списывают, а взамен дают новый, Ефремыч узнал от Васьки Щеглова, долговязого разбитного парня, работавшего после окончания ГПТУ на бульдозере, как и Ефремыч. Узнал, возвращаясь с работы. Васька догнал его на выходе с территории стройки.

— Здорово, Ефремыч! — весело сказал он, поравнявшись. — Что ноги медленно передвигаешь? Ведь домой идешь, не на работу.

— Ефремыч искоса взглянул на него, промолчал.

— Готовь магарыч, старик, — Васька хлопнул его по плечу. — Сообщаю тебе приятнейшее известие: твою старую тра-та-ту списывают, а новую вручат.

— Ты бы так на бульдозере работал, как языком, — уронил Ефремыч, пропустив Васькины слова. — Больше бы пользы было.

— Что за народ! — Васька дернулся хильми плечами. — Бру — верят, правду говорю — нет. Хоть вообще рта не раскрывай.

Ефремыч усмехнулся:

— Вот и не раскрывай.

— Да ты что? Не веришь? — Васька остановился. — Русским тебе языком говорю — списывают твой бульдозер. Сам, собственными глазами видел у механика бумагу, и на ней печать вот такая. — Васька соединил большой и указательный палец. — А врать мне ни к чему, мне за это не платят.

— А на кой ляд мне новый, — раздраженно сказал Ефремыч. — Мне и на старом неплохо.

— Ты что, того? — вытаращился Васька. — Да скажи кому, засмеют.

— Вот такие, как ты, и засмеют. Вам только новые получать да гробить. Сами ни черта не умеете, кроме как рычаги держать да девок по подъездам тискать.

— Ну ты чего, чего, — пробормотал Васька. — Чего ты передо мной своими граблями размахиваешь? Ты перед механиком размахивай. Я что. За что купил, за то и продаю.

— Купил, продаю, — спав голосом, уронил Ефремыч. — Волосы бы лучше вымыл, а то висят, как сопли. Смотреть тошно. Тьфу, — и Ефремыч круто повернулся направо, в сторону гаража.

Васька повертел пальцем у виска и поточил своей дорогой.

Механик был у себя, разговаривал по телефону. Увидев шумно вошедшего Ефремыча, приложил палец к губам, показал на один из стоявших вдоль стены замызганных стульев.

«Видно, с женой или начальником разговаривает, — подумал Ефремыч. — Ишь, губы-то трубочкой держит. Того и гляди, трубку целовать начнет. А слова-то какие: «нет», «да», словно других и не знает».

— Ну, чего тебе? — поморщился механик, положив трубку.

— Ты что, всерьез мой бульдозер списывать собираешься? — Ефремыч склонил голову к плечу.

— Ну списываем. А что? — зевнул механик, аккуратно пряча рот за ладонью.

— А это ты видел?! — вскинулся Ефремыч, тыкая в его сторону кукиш.

Механик оторопело посмотрел сначала на кукиш, затем на покрасневшее лицо Ефремыча, взорвался:

— Ну, ты! Полегче с оскорблениеми. Ты это можешь своей жене показывать. А я тебе...

— А ты головой думай, а не задницей! — Ефремыч грохнул кулаком по столу. — Это же только додуматься надо! Машина еще жить, работать хочет, а ее угробить желают! Вот ежели я тебя сейчас помимо твоего желания кулаком по шее хрястну, небось жаловаться побежишь. А? А я вместо него пришел. Ты его видел?

— Кого? — растерялся механик.

— Бульдозер мой, кого? Хрена ты его видел. А я его вот этими руками до ума довел. А впрочем, чего тебе объяснять. — Ефремыч махнул рукой.

— Так бумага пришла. Мне что. Я человек маленький.

— Все вы маленькие, когда дело ответственности касается, — усмехнулся Ефремыч. — А как премию получать, ого, какие большие.

— Ну ладно, Ефремыч. Я тебя, конечно, понимаю.

— Ни черта ты меня не понимаешь, — пробурчал Ефремыч, вытаскивая из кармана до желтизны протертый портсигар. — Понимал бы — не списал. «Понимаю...» Ты только указания понимаешь.

— Но этот вопрос может урегулировать только главный, — уронил механик, делая вид, что не замечает неприятных слов.

— Пошли к главному, — Ефремыч решительно встал.

— Завтра, — механик выставил вперед лапонь. — Завтра. С утра.

— Удерешь ведь, — засомневался Ефремыч, зная, что отыскать механика утром так же трудно, как главного после обеда.

— Не удеру. Дело-то общее.

— Что так долго? — недовольно спросила жена, когда Ефремыч раздевался в прихожей. — Я уже три раза подогревала.

— Устала, что ли? — пробурчал он, снимая пиджак.

Жена вздохнула.

— На работе что? — робко поинтересовалась она, когда Ефремыч, умывшись, сел за стол.

— Бульдозер мой, на котором я шесть лет отработал, списать хотят, — пожаловался он, беря ложку. — Новый дать хотят.

— Ну и слава богу, — облегченно вздохнула жена. — А то я уж со стиркой замучилась. Порошка-то на одну твою одежду извела... — и осеклась, взглянув на мужа.

Ефремыч отшвырнул ложку, хотел что-то сказать, но махнул рукой и, тяжело ступая, ушел в комнату.

— Я что-то не так сказала? — виновато спросила жена, подойдя к стоявшему у окна Ефремычу. — Так ты не серчай. Неужто мы из-за какой-то железяки ругаться...

Ефремыч резко обернулся:

— Железяки! И для тебя железяка. А это?! А это?! — он затыкал рукой по комнате. — Кто нам все это заработал? А? Чего смотришь? Железяка со мной вместе заработала. Железяка. Я эту железяку...

— Но, Ефремыч,— жена робко прикоснулась к его локтю,— ты же сам говорил, что сердце больное. Да и люди говорят, что на новом легче.

— Люди говорят, люди говорят,— переглянул он.— Мало ли что люди говорят. Ты вон тоже постарела, так, может, мне взамен тебя новую взять? Люди говорят... И пускай говорят. А сердце болит... Так на то оно и сердце, чтобы болеть.

— Что ж делать-то теперь будешь?

— К главному пойду.

— Думаешь, уважит он тебя?

— Тьфу! Слово-то какое — «уважит». Слушать противно.

— А может, и не спишут?

— Твои бы слова да богу в уши. Додумалась наконец-то.

Утром следующего дня Ефремыч встал намного раньше обычного. Оделся, выпил кружку чаю.

— Медали бы надел,— посоветовала жена.— Аль грамоту взял, что тебе командующий на фронте как механику выдал. Все ж полегче будет.

— Медали, грамоту,— рассердился Ефремыч.— И без медалей понять должен. А не поймет — грош ему цена.

— Слова бы приготовил. К начальству все-таки идешь. А то бухнешь еще что. У тебя ж не задержится. Знаю я. Потом жалеть будешь,— сказала она, поправляя на нем шарф.

— Все ты у меня знаешь,— проворчал Ефремыч.— Ну ладно, пойду я,— и, поцеловав, как было принято давно, жену, вышел. Механика не было.

— Вот гад! Смылся! — громко сказал Ефремыч и пошел к главному.

Главный был у себя. Отклонив предложение сесть, Ефремыч спросил:

— За что мой бульдозер списываете?

— Как это за что? — не понял главный.

— Вот я и спрашиваю, за что? — упрямовато повторил Ефремыч.— За что вы его хотите жизни лишить?

— Жизни?! — главный улыбнулся.— А за то, что время подошло. Да вы не расстраивайтесь, вам новый дают. Видели, какой красавец?

— А на кой мне ляд новый, если я еще на старом могу. Если у него еще сердце и тело работать могут.

— Ну, знаете,— главный развел руками.— Не понимаю я вас. Совершенно не понимаю.

— Не понимаете, значит?

— Нет,— главный забарабанил пальцем по столу.

— А что же вы свою личную машину не списываете? Она у вас давно на ладан дышит.— Ефремыч сощурился.— А? Тоже не знаете? Знаете. Своя. Деньги плачены. Да на ее, старую, и то постараитесь продать по-хорошей. Что? Разве нет? А государственную, значит, можно побоку? Богатые стали. Государства, значит, рвать можно. А оно что вам, дойная корова? В войну под бомбежкой, под пулями самый искореженный танк ремонтировали, жизни лишились... А сейчас чушь что — и под резак, в металломолом. Не много ли металломолома будет? Как бы один металломолом не остался. Еще главный инженер... А-а...

— Но,— главный приподнялся,— но...

— Ну вот что,— Ефремыч опустил руку на стол.— Спишете — я до главка дойду. У меня не задержится. Мне верхов бояться не надо. Вот так, товарищ главный инженер.

Выходя из конторы, Ефремыч сел на скамью, посидел, держась рукой за сердце. Мимо, усердно шлепая гусеницами, прокатил бульдозер. Ефремыч проводил его взглядом, поднялся и пошел на работу. Туда, где его ждали.

ЗАБЫТОЕ ТЕПЛО

— Ну что же вы, заходите...

Дверь квартиры была открыта, женщина смотрела вопросительно, и Шухов, чуть поколебавшись, решительно переступил порог. За спиной, как ему показалось, торопливо щелкнул дверной замок. В прихожей стало темно, и там, в темноте, где-то рядом, была женщина. Шухов слышал ее дыхание, ощущал слабый запах духов. Щелкнул выключатель, и он невольно зажмурился от яркого света. Когда он открыл глаза, женщина стояла напротив. Лицо ее было розовым и мокрым. На улице было прохладно и шел мелкий холдный дождь.

«А она ничего,— подумал Шухов.— Привлекательная».

— Раздевайтесь,— сказала она, взглянув на него.

— Да уж разденусь, раз пришел,— Шухов улыбнулся и стал снимать плащ.

Шухов встретил ее, подходя к вокзалу, на который возвращался, так и не отыскав в ночном безлюдном городе гостиницы. Она шла навстречу. Поравнявшись, Шухов остановился, спросил:

— Вы не скажете, где тут у вас гостиница?

— Гостиница? — переспросила она.— Гостиница рядом,— и, окинув его быстрым взглядом, объяснила, как пройти.

Шухов поблагодарил и зашагал. Но только отошел на несколько шагов, как женщина окликнула:

— А вы зря идете.

— Это почему же? — удивился Шухов, останавливаясь.

— Мест нет.

— А вы откуда знаете?

— Да уж знаю,— она пожала плечами.— Я от подруги иду, а она в гостинице администратором работает. На совещание какое-то много понаехало.

Шухов чертыхнулся.

— Вы в командировку приехали? — поинтересовалась она, помолчав.

— В командировку, будь она неладна,— Шухов махнул рукой, посмотрел в сторону вокзала.— Что ж, придется ночевать...

— Слушайте. Пойдемте ко мне. У меня переночуете.— Глаза ее в свете желтых фонарей казались темными и блестели, словно смазанные лаком.

— А у вас...

— Я одна живу,— спокойно перебила она.— Ну так как, пойдете?

— А чего не пойти, можно, раз женщина приглашает,— охотно согласился Шухов.

— Только вы не думайте, что я из этих... «Все вы не из этих»,— подумал Шухов.

...— Обувь снимите. Вот тапочки. Они, правда, старые, но теплые.

— Благодарю вас,— жеманно сказал Шухов и наклонил голову.

— Чай пить будете?

Чаю Шухову не хотелось.

«Ты меня для этого позвала, что ли?»— подумал он и вслуш:— Отчего не попить, раз предлагают.

Она улыбнулась и вышла. Шухов осмотрелся. Прихожая была маленькой, но чистой. На стене большое зеркало, рядом деревянная полочка, на ней расческа, тушь для ресниц и губная помада. Слева вешалка и подставка для обуви.

— Вы проходите, не стесняйтесь,— послышалось из глубины квартиры.

«Вот еще,— подумал он, усмехнувшись.— Я еще стесняться должен. Было бы кого».

Тапочки были маленькие, и ему приходилось идти на цыпочках, чтоб не помять задники.

— Ну вот, чайник поставлен,— сказала она.— Скоро чай будем пить.

— А покрепче у вас ничего нет?— весело спросил он.

— Нет. И не держу,— сухо ответила она, поправляя волосы.

— Ну а курить-то хоть можно?

— Конечно. Курите,— кивнула она.— Я сейчас пепельницу принесу.— Она вышла за пепельницей в соседнюю комнату.

Шухов посмотрел на часы. Они показывали половину третьего.

— Вот,— она поставила на край стола массивную стеклянную пепельницу.

— А мне почему-то там, на улице, показалось, что глаза у вас черные,— сказал Шухов, доставая папиросы.— А они у вас зеленые.

Она пожала плечами, села напротив. Стало тихо. Только часы отчетливо тикали.

— А у вас ничего,— уронил Шухов, оглядывая комнату.— Уютно, чисто, красиво.

— Чисто, красиво,— она поморщилась.— Надоела мне эта стерильность... Словно в операционной.

— Вы в больнице работаете?

— Нет,— она покачала головой.— В столовой.

— Тоже хорошо,— удовлетворенно произнес Шухов.— Ну и как заработка?

— При чем тут заработка? — она недоуменно посмотрела на него.

— Так, к слову,— пробормотал Шухов, тыча окурком в пепельницу, и вдруг отчетливо понял, что ничего у него с этой женщиной не выйдет.

Из кухни послышалось металлическое дребезжание. Женщина поднялась и вышла.

— Идите чай пить,— вскоре раздался ее голос.

«Чай так чай»,— вяло подумал он по дороге в кухню.

Некоторое время пили молча.

— Вы женаты? — неожиданно спросила она.

Шухов сначала, как было всегда при встречах с незнакомыми женщинами, хотел

сказать, что нет, но подумав, что эта ночь у него пройдет «порожняком», неохотно сказал:

— Женат.

— И дети есть?

— Есть. Двое.

Женщина вздохнула, помешала ложкой в чашке, робко поинтересовалась:

— Жена красивая?

— Так себе,— Шухов дернул плечами.— Жена как жена, они почти все одинаковые.

— Хорошо живете?

Шухов никогда не задумывался, как он живет: хорошо или плохо. Живы, здоровы — и слава богу.

— Нормально. Не хуже и не лучше других.— Шухов зевнул, отодвинул чашку.— Спасибо.

— Вы спать хотите?

— А вы?— Шухов взглянул на нее.

— Нет. Не хочу,— ответила она, думая о чем-то другом.

— А вы почему не замужем? — спросил Шухов.

— Я? — переспросила она, вздрогнув.— Да так... Не нашла. Была уже, да неудачно,— она грустно улыбнулась.

— Бывает,— Шухов чуть снова не зевнул.

— Бывает,— тихо согласилась она.— Все бывает. Разное. Любишь человека, а он...— она махнула рукой.— Пойдемте, я вам постелю. А жизнь идет. Мне уже скоро тридцать. И квартира есть, и работа хорошая, а счастья нет. Толчется где-то рядом, а подойти не решается. Наверное, боится ошибиться.

Лежа на диване, Шухов слышал, как она убирает со стола, как вытирает пол, как делает еще что-то. Так и заснул, думая, зачем женщина ищет себе работу, когда убирать в квартире совершенно нечего.

Он проснулся от прикосновения руки. Она стояла над ним:

— Уже половина восьмого. Вставайте.

Чай был согрет. Стол накрыт. Шухов вспомнил свою жену, которую никакими силами нельзя было заставить встать пораньше и согреть хотя бы чай, и поморщился.

— Как спалось? — спросила она, когда они пили чай.

— Отлично.

По дороге на работу Шухов решил зайти в гостиницу — вдруг за ночь хоть одно место освободилось. В вестибюле гостиницы было тихо. За стойкой клевала носом дежурная.

— Местечка у вас не найдется? — спросил он.

— Сколько угодно,— зевнула дежурная.— Хоть все номера снимайте.

— И вчера были?

— Конечно,— дежурная пожала плечами.— Осень не лето, это летом у нас целое столпотворение, а сейчас...

— Странно,— пробормотал Шухов.— А мне вчера сказали, что...

Шухов работал, жил в гостинице, но настроения не было. Не было, и все тут. Он несколько раз задавался вопросом, но ответа не находил.

Шухов уезжал. Там, в поезде, он в первый раз в жизни написался, не зная зачем и по-

чему. И уже подъезжая к дому, среди ночи, он с чувством какой-то непоправимой потери воскликнул: «Да что же это со мной?!»

ЛЮБКА

Он вернулся. Вот он, рядом, у порога. Он ничуть даже не изменился. Стоит и смотрит на нее, Любку. Смотрит так, словно видит ее в первый раз,— оценивающе, снизу вверх. Смотрит и молчит. А может, и сказал уже что-то, но Любка не слышала.

Любка стоит, стоит и не знает, что это с ней. Не знает, почему же не делает к нему те быстрые шаги, не тыкается лицом в грудь, не замирает... не делает то, о чем так мечтала все эти долгие два года. Почему не плачет от счастья, почему не выбегает на улицу и не зовет сына, его сына, о котором он совсем ничего не знает. Почему? Ведь вернулся же он, вернулся к ней, Любке, к сыну. И как сквозь сон слышит удивленное:

— Ты не рада, что я вернулся?

— Почему же, рада,— тихо говорит Любка.— Проходи.

Любка смотрит, как он опускает на пол чемодан, как, тяжело ступая, проходит к столу, садится и медленно осматривает ее маленькую, полученную сразу же после рождения сына комнатку, слышит:

— Ты одна живешь?

— Одна,— быстро отвечает Любка.

— Ну и как жила?

Любка отворачивается, торопливо заслоняет телом лежащие на подоконнике колгот-

ки, смотрит в окно, за которым во дворе в пекарне играет сын.

— Как жила,— повторяет Любка, по-прежнему глядя в окно.— По-разному я жила...

Ей хочется рассказать ему, как спешила с работы домой, как, перепрыгивая через две ступеньки, бежала к своей комнате в надежде получить от него письмо, как плакала, потому что письма не приходили. Хотела рассказать, как лежала в роддоме, как приходили подружки, но не приходил он, самый нужный ей человек. Хотела рассказать, как болел сын, как по вечерам барабанили в ее комнату парни, барабанили так, словно имели право на ее, Любкину, любовь, и перестали только тогда, когда в комнате напротив поселился милиционер, как по несколько раз перешивала старые платья, как много раз ходила по промтоварным магазинам, хотя денег не было, и просто смотрела... Хотела рассказать, но не рассказала, а просто тряхнула головой и весело сказала:

— Хорошо жила. Ну, а ты как там, на Севере?

— Нормально,— он пожал плечами.— Работал. Вот...— Он неторопливо достал и бросил на усыпанный хлебными крошками стол две пачки денег.— На все хватит.

«Столько бы писем он мне прислал...»— подумала Любка и вслух:

— Почему писем не писал?

— Да, знаешь, времени не было,— неожиданно ответил он.— Работал.

«Хоть бы извинился,— с надеждой подумала Любка.— Хоть бы словечко сказал. Самое коротенькое...»

— Ну, а теперь-то мы заживем,— он подкинул деньги,— как все люди, по-человечески. Верно?

Любка не ответила.

— Ты чего? — он встал, подошел к ней, положил руки на плечи.— Не рада?

Любка посмотрела в его глаза. Они были совсем другие, совсем даже не похожие на те, что были два года назад. Тепла в них не было. Они просто смотрели, не спрашивали. И Любка отстранилась. Он поморщился.

— Все понятно...

«Господи! — со страхом подумала Любка.— Ведь уйдет сейчас, уйдет. Что же это я. Ведь опять одна останусь...»

— Тебе видней,— лениво уронил он, согнувшись за чемоданом.

— Ты ничего не понял. Ужели ты так ничего и не понял? — отчаянно прошептала Любка.

— А чего понимать-то? Все и так понятно... Ну, бывай...

Любка стояла, смотрела на дверь, слышала, как, удаляясь, прозвучали его шаги, как замерли они у входной двери, как их сменили мелкие легонькие шажки, и на пороге, толкнув дверь обеими ручонками, появился сынушка.

— Мама, а кто это к нам приходил?

И Любка, холдея сердцем, глядя в окно вслед ему, выдохнула:

— Так, сынок. Дядя один...

ВСТРЕЧА НА ДОРОГЕ

...В сорок шестом году весной возвращался я из деревни, где гостили у фронтового друга, в город. Вышел рано утром. Дорога была крепкой, ноги к ходьбевойной обученные, да и молод был. До города оставалось уже совсем ничего, когда увидел я впереди человека. В стареньком полушибке, валенках с галошами, шапке-ушанке. Он шел бровкой дороги, шел осторожно, так, как обычно ходят пожилые люди. Я прибавил шаг, подходя, распахнул шинель, чтоб все мои награды на виду были, поздоровался.

— Здравствуй, сынок,— негромко отозвался он, остановившись.

— В город, отец? — спросил я.

— В него сынок, в него,— закивал он.

— Ну, значит, попутчики. А по какой надобности, если не секрет? — полюбопытничал я, когда мы снова зашагали.

— А за бумагой, сынок. Бумагу мне получить надоально,— вздохнул он.

— Какую бумагу?

Прежде чем ответить, старик покашлял в ладошку, внимательно посмотрел на меня, тихо сказал:

— А бумагу мне, сынок, такую надоально, в которой бы отписали, что сын мой Гриша жив, и печать главную поставили.

— Но если жив, зачем бумага? Жив он и есть жив! — удивился я.

— Так вся и беда, сынок, в том,— после короткого молчания негромко сказал он,— что нет моего Гришки. Погиб он. Как война

началась, так и погиб. Я уж и похоронку на него получил.

— Но если погиб, то зачем? — изумился я.

— А я счас тебе, сынок, все как есть поведаю,— торопливо проговорил он.— Счас...

Некоторое время шли молча. Было удивительно тихо, ласково вокруг.

— Похоронку-то мне Семен принес, почтальон наш,— неожиданно заговорил он.— Я во дворе как раз сарай ремонтировал, а старуха моя в избе больная лежала. Ну, я как прочитал, что смертью храбрых, да дальше и читать не мог. А чего дальше читать-то? Я-то мужик, я понимаю, хоть и больно мне до крику, что война без смертей не бывает. Сам воевал. А старухе-то как объяснишь. Не объяснишь ей. Мать она... А матерям, сам знаешь, для них лишь бы дети живы были. Ну, я и порвал похоронку-то, а Семену сказал, чтоб молчал. А война-то идет. В деревне кто похоронку получил, кто без вести. А моя старуха ждет. И я с ней вместе жду. Война окончилась. Кто вернулся, кто нет,— старики тяжело вздохнул.— Ну, я и придумал,— кто надоумил, и сам не знаю,— стала я ей говорить, что Гриша наш потому не возвращается, как служить продолжает. А оставили его служить по надобности, оттого что у него институт окончен, что язык чужой знает. И что по этой причине и писем не шлет, потому как не положено, служба такая. Долго не верила, а поверила. Для матерей надежда что лекарство. А тут...— старики безнадежно махнули рукой.— В деревне-то нашей старухи по вечерам на посиделки собираются. А внук одной, когда моя старуха

стала о Гришке рассказывать, возьми да скажи, что у разведчиков какие-то там каналы имеются, по которым, дескать, можно домой письма исправно отсылать, и книгу какую-то показал, где об этом самом все отписано. Старуха моя в слезы. Да ладно б, ежели прочитала аль еще что, а то молчком. А вчера слегла. Помрет старуха, ежели я ей такую бумагу не принесу. Как есть помрет. Она и так у меня словно хворостинка,— старики покачал головой.— Да и отписать-то надо...— он задумался.— Отписать надо, что, дескать, так и так,уважаемая Агриппина Максимовна, служит ваш сын Гриша... И чтоб печать главную поставили. Как ты, сынок, думаешь, отпишут мне бумагу?

Я запахнул шинель, закурил и твердо сказал:

— Отпишут, отец.

— Ну и слава богу, ну и слава богу,— он мелко перекрестился.

Мы расстались в городе.

СОВЕТ

Заявление на развод Глашка Кондрашева написала с помощью тетки Василины, соседки. Василина сменила трех мужей и гордилась этим. Говорила при случае:

— Я женщина твердых правил. Я этих оболтусов (так она называла всех мужчин) перевоспитывать не собираюсь. Развод, и дело с концом. А то, что вместо себя дите оставляют, так это даже и неплохо — алименты платят. С ними, оболтусами, вот как на-

до.— Василина сжимала кулак.— А то они живо на шею сядут.

— Значит, так,— сделав глубокомысленное лицо, говорила Василина, меряя за спиной Глашку длину комнаты.— Пиши. В народный суд города Ивделя от Глафиры Александровны Кондрашевой. Заявление. Написала?

Глашка кивнула. Хлюпнула носом.

— Чего носом-то хлюпаешь?!— рассердилась Василина.— Радоваться надо, что от такой обузы освобождаешься, а она... Тьфу! Что за бабы пошли. Ну никакого самолюбия. Вон, к примеру, Зинка Рогозина, с синяками ходит, а с этим оболтусом живет. А чего живет, спрашивается...— Василина выпятила губы, покосилась на склонившуюся над тетрадным листком Глашку и, присев рядом, ткнула пальцем в написанное:

— Пиши! Прошу вас расторгнуть мой законный брак с Кондрашевым Семеном Васильевичем...

Глашка писала, терла нос. Губы ее дрожали.

— ...Причина развода,— продолжала диктовать Василина,— заключается в следующем. Какая причина-то?

— Оскорбил он меня,— Глашка зажала готовый раскрыться в плаче рот.

— Физически, духовно?— деловито поинтересовалась Василина, устраиваясь поудобней.

— Духовно.— Глашка закрыла руками лицо, по которому грязными разводами стекала тушь.

Василина поморщилась:

— Духовное — ерунда. Духовное суду не предъявишь. Физически оно наглядней.

— Да-а... Тебя бы так,— всхлипнула Глашка.

— Тебя, тебя,— передразнила Василина.— Молода еще. Сначала смени, как я, трех, тогда и говори. А то с одним без году неделя живешь, а уж из-за духовного нюни распустила. Интеллигентные, как посмотрю, все больно стали. Смотреть тошно.— Василина встала, прошлась по комнате, помотрела на ревущую Глашку, спросила:

— Что сказал-то? Матерное?

Глашка помотала головой.

— Да не тяни ты душу!— рассердилась Василина.— Говори, ежели заинтересовала.

— Зря, сказал, на тебе, непутевой, женился.— Глашка всхлипнула.— Лучше тебя, сказал, в тысячу раз есть. А я... Я путевая.

Василина, скрывая смех, прижала к губам платок, посеребренев, спросила:

— Ну, а ты ему что?

— Я?— Глашка подняла заплаканные глаза.— Я ничего.

— Дура! Год с мужем прожила, а ума не нажила. Я б на твоем месте...— Василина мечтательно улыбнулась.— Я бы его так отчехвостила, что не меньше года при одном воспоминании икалось. Ну вот что, путевая.— Василина решительно села напротив.— Теперь слушай, что я тебе говорить буду,— и тихо, хотя в квартире никого не было, стала что-то нашептывать Глашке на ухо.

— Поняла?— Василина откинулась на спинку стула.

— Поняла! — Глашка решительно вытерла слезы.— Спасибо.

— Пустяки,— Василина махнула рукой.— Сменишь трех мужей — не то знать будешь.— И глядя вслед ринувшейся к двери Глашке, покачала головой, протянула:— Вроде бы и современная молодежь, а ума...

ПРО ЛЮБОВЬ

Во время войны Саня жил в деревенской избушке, выходившей на улицу скотной пристройкой, а окнами на огород. Изба была старая, все в ней скрипело. Во время дождей соломенная крыша текла и приходилось снимать со стены часы и ставить под протекающие места тазики и ведра. Вместе с Саней жили мама, маленькая Татка и бабушка.

Бабушка была большой чаевницей. Через каждые два-три часа она кипятила на таганке чайник, затем, весело охая, лезла на скамейку и с божницы, где уже давно не было икон, доставала заветную зеленую баночку. Когда, строго поджав губы, она отмеряла заварку, лицо ее становилось торжественным, словно она читала письмо от папы. В эти минуты бабушка не отвечала на вопросы и под руку ей лучше было не соваться. Так же степенно бабушка заливала кипяток в серебряный чайничек, ставила его на отверстие большого чайника и укрывала сверху матрешкой с непомерно широкой юбкой. Чай настаивался долго. Потом, горячий и красный, он весело булькал из носика чайника в ста-

каны, радужно играл на солнце. Отхлебнув из блюдечка, бабушка крякала.

— Саня, а Саня... — начинала она.

— Чего? — с радостной готовностью откликался белобрысый Саня.

— Ты знаешь, Саня, — тянула бабушка, — ты поди-ка, принеси...

— Да чего? — срывался Саня с табуретки.

— Кусочек сахара!

Саня останавливался как вкопанный, думал.

— А где он, бабушка?

— Да ты уж принеси, — щурясь на блюдечко, говорила бабушка.

Саню осеняло.

— Да нету же сахара у нас, — разочарованно догадывался он.— Опять ты обманула, бабушка.

— Ну вот какой нехороший внук. Не может принести хоть маленький кусочек сахара, — ворчала старушка.— Его бабушка корчит, поит, а он не любит бабушку. А без сахара бабушка умрет. Разве можно пить чай без сахара?

— Да где же я возьму сахар? — с отчаянием шептал Саня.

Его особенно пугала мысль, что бабушка умрет, а он ей ничем помочь не может. А без бабушки, наверное, совсем плохо будет. Папа на войне, мама на работе, от сестренки Татки толку совсем мало — как же без бабушки? И Саня чувствовал, что в глазах начинают шевелиться какие-то щипучие мурашки.

— Ну-ну, — вдруг говорила бабушка, и голос у нее становился ласковым и теплым, как

та матрёшка, снятая с чайника.— Не дуйся-ка, дутырь. Пошутила я.

Бабушка вставала из-за стола, легонько поддавала Сане пониже поясницы, шла к печке и доставала противень со слегка провяленными ломтиками свеклы.

— Вот он, наш сахар. Садись, пей.

Ломтики были мягкие и вкусные. Но сладости в них, по Санькиному мнению, было маловато. Саня пробовал запихивать в рот сразу по несколько кусков — становилось чуть-чуть сладше.

«Жалко, рот маленький,— думал Санька,— а то бы можно целую свеклу сразу съмочакать».

— Бабушка, а какой сахар бывает?

— Сахар-то? Белый он. Да ты не помнишь разве? До пяти-то лет много ты сахару поел.

— Нет, не помню,— честно признавался Саня. Он напрягал память, но ничего путного не выходило — какие-то скучные картинки: мать в цветах на лугу, отец строгает удилище, потом город, вспышки голубых огней на проводах, зеленая груша, которую он так и не съел в гостях...

Вот войну Саня помнил. В Ленинграде палили зенитки, а по небу плыл маленький самолёт, и наши его так и не сбили. Потом, уже в дороге, ночью немцы вывесили осветительную бомбу. Она горела долго и ярко, и все молчали. И самолёт гудел. И было страшно. А еще страшнее было на какой-то станции, когда Саня остался один, а немцы начали бомбить. Бомбы визжали, как кошки, когда им на хвост наступишь, и даже еще хуже.

И земля тряслась. И наших не было видно. А потом несли носилки, закрытые простыней, и снизу из них капало. А потом уехали далеко, и тут войны нет. Но и сахара нет. И хлеба... тоже нет. А вот картошка есть, и огурцы скоро поспеют, и вчера мама приносила брынзу. Вкусная, только соли много.

Но думать Сане быстро надоедало. Он отпрашивался у бабушки и выбегал во двор, где буйно зеленели лопухи, крапива. Их можно было здорово сечь длинным прутом, воображая, что это немцы. Да мало ли затей было у Саньки!

В июне Саньку направили в пионерский лагерь.

До города Саню проводила мама. Там на улице, под пыльными тополями, Саня вместе с незнакомыми ребятами залез в кузов грузовика. Мама подала мешочек с сухарями и потом, когда машина тронулась, долго маяхала рукой, становясь все меньше и меньше.

Машину здорово трясло. Один мальчик заплакал, и ему дали яблоко. Потом на станции все сели в поезд и поехали в город Горький. Все это Саня запомнил плохо. А вот потом начались удивительные вещи. Утром ребят провели по городу на пристань. Вот где было интересно! Здесь стояло много-много пароходов. Саня уже умел читать. На одном было написано «Ветлуга», на другом — «Буй», на третьем — «Некрасов».

А Саня и другие ребята сели на самый хороший, самый белый пароход «Волгарь». Сначала все стояли наверху. Палуба качалась, ветер холодил под рубашкой, а по сторонам плыли деревни, коровы, деревья.

— Это Волга,— сказала тетенька, которая ехала с ребятами.

Это была, конечно, Волга. Тут и спорить никто не стал. Широченная, спокойная, а глубина — не донырнуть ни почем, наверно. Попспорили потом, когда один высокий городской мальчик сказал, что если прыгнуть за борт, то не утонешь, потому что пароход остановят и кинут спасательный круг.

— Утопнешь,— с недоверием сказал Саня,— будут для тебя пароход останавливать...

— А вот и не утону! Да я, если хочешь, и всю Волгу переплыvu,— побледнев, ответил высокий городской мальчик.— Хочешь, брошусь сейчас? — И он сделал шаг к борту.

— Я все Лене Ивановне скажу,— плаксивым голосом затянула маленькая девочка.

— Нет, ты скажи,— не отступал высокий городской мальчик,— веришь или нет?

— Верю,— сказал перепуганный Саня, хотя ему этого не хотелось говорить.

Девочка все же привела ту самую тетеньку, и ребят увели вниз, в каюты.

Саня сидел на теплой скамье, и его приятно покачивало. На белом крашеном потолке сходились и расходились светлые блики, где-то гудела машина... и Саня уснул.

Не проснувшись толком, он слез с парохода со всеми, протопал немного по лесной дороге и, когда уже настала ночь, лег на кровать, на холодные простыни, и укрылся шершавым одеялом. И ночью ему снилась Волга...

А утром начался лагерь. Саня сразу понял, что тут будет весело. Когда запела труба, Саня натянул майку, надел тапочки

и вышел на крыльце. Щурясь от солнца, он оглядывался. Изо всех домов выходили ребята, на высокой мачте бойко трепетался флаг, а кругом стояли сосны.

В столовой Саня оказался рядом с высоким мальчиком. Тот тоже узнал Саню и улыбнулся тонкими губами. Сане дали кружку. Он отхлебнул, удивился и спросил у высокого:

— Что это?

— Какао. Ничего, пить можно.

Потом дали хлеб, и на нем лежал желтый квадратик.

— А это?

— Масло! Вот чудак, не знаешь! Ты откуда такой?

Саня хотел ответить, но не успел — прямо ему под нос упали два звонких белых кубика. Мальчик, ожидая нового вопроса, смотрел на Саню, готовый расхохотаться.

— Небось, и этого не знаешь?

Саня покраснел, что-то вспыхнуло в его памяти, и он неожиданно для самого себя сказал, не веря в счастье:

— Знаю... Это сахар!

Он не слышал, что ответил ему насмешливый мальчик, он думал. Затем он выпил какао, съел хлеб, а сахар зажал в кулаке. Выйдя из столовой, он оглянулся и побежал в спальню. Там было пусто. Саня высыпал в тумбочку мамины сухари и бережно опустил два липких кусочка в освободившийся мешочек, крепко завязал его и сунул под подушку.

Шли дни за днями. Саня купался в речке, ходил на крутой обрыв, с которого когда-то

бросился в воду, спасаясь от царских солдат, народный атаман Сокол, лазил на сосны, подружился с девчонкой и каждый день опускал в ситцевый мешочек шесть кусочков сахару. Ему очень хотелось попробовать хоть разок, какой же вкус у этого сахара, но он сдержался.

Подружился Саня и с высоким мальчиком. Его звали чудно — Руслан. Руслан научил Саню играть в шахматы, и друзья сидели за ними часами.

— Слушай, Саня, — сказал как-то Руслан. — Я видел, что ты сахар копишь. Куда тебе его?

— Бабушке, — протянул Саня, глядя в сторону.

Руслан помрачнел. Сдвинул рукой шахматы, тихо сказал:

— А мне некому копить. Детдомовский я. Всех разбомбили. И маму, и тетю, и бабушку... — Он не договорил и бросился за дверь. Саня нашел его за сараем. Руслан стоял у стены и отворачивался от Саньки.

— Рустик, слышь, хочешь, я тебе весь сахар отдам? — забормотал Саня и, чуть помолчав, добавил: — И ножик...

— А иди ты, — беззлобно ответил тот и заплакал по-настоящему.

В этот вечер они опоздали на линейку, за что их назавтра не взяли в кино. Впрочем, кино было плохое — про любовь.

А еще через неделю ребят повезли назад. Снова Волга, хороший город Горький, потом станция Вертулужная, а вот и знакомый городок Варнавик. Отсюда до Санькиной деревни — рукой подать, семь километров.

Санька бодро идет, прижимая к груди заветный мешочек. При расставании Руслан добавил в него свои три порции, и теперь мешочек полон. Сама стелется под ноги мягкая полевая тропинка, по бокам ее то рожь выше Санькиной головы, то луговые цветы. Ныряет тропинка в овраги, выбегает на пригорок, а Санька поет и думает: «Я несу бабушке сахар!»

Вот и околица деревни, а третий дом — Санькин. Санька смотрит ревниво: а что тут без меня изменилось? Вот лопушок вылез из-под сарая, вот крапива у крыльца разрослась. Уж я ее приведу в порядок! Летит Санька на крыльцо, распахивает дверь. Бабушка сидит у стола, читает книгу.

— Бабушка! — орет Санька и бросается к ней. Бабушка роняет очки. И вот уже ее теплые домашние руки обнимают Саньку, бабушка и плачет, и смеется:

— Да чего ты мешок-то свой не выпускаешь!

И тут Санька вспоминает.

— Это тебе, бабушка, — говорит он и протягивает мешочек.

— Да ладно, ладно, потом уж, — отмахивается бабушка. — Дай хоть поглядеть на тебя. Вырос-то как, боже мой, вылитый Володя!

— Нет, ты посмотри, бабушка, — говорит обиженный Санька.

— Да чего у тебя там?

— А ты посмотри!

Саньке весело.

Бабушка берет мешочек, долго возится с тесемкой, затем заглядывает внутрь. А Санька так и пляшет от нетерпения.

— Сахар, — шепчет бабушка, — пыленый сахар! Так это ты сам не ел? Ах Саня, Саня...

Руки у бабушки трясутся. Будут еще Саньке и объятия, и слезы, и выговоры, а сейчас она сидит на лавке и шепчет:

— Ах Саня, Саня...

НЕЖНОСТЬ

А. Г. Нагибиной

— Надо идти домой,— громко сказал Павел самому себе.— Надо идти! Надо! — яростно выкрикнул он от полного бессилия перед этим коротким литым словом.— Надо! Надо! Надо! — ронял он после каждого шага, почти физически ощущая, как оно, слово, подталкивает его в спину, к дому...

Но чем ближе становился знакомый двор, тем тише и реже произносил он это слово и наконец замолчал, остановившись в нескольких шагах от подъезда. Он снова до болезненности отчетливо представил, как он вот сейчас, отсчитав два десятка ступенек, поднимется на второй этаж, позвонит, услышит торопливые шаги и увидит ее: веселую, радостную, довольную тем, что выписалась из больницы, что она здорова, и совсем не знает, что она неизлечимо больна и что жить ей осталось... А он знает. Знает и ничего, совсем ничего не может сделать, кроме одного — ждать со страхом, когда это случится. Он с необыкновенной ясностью увидел ее счастливое лицо, улыбку, услышал веселое: «А вот и я! Не ждал?» Ощутил теплые руки, мягкие

губы и такой знакомый запах волос. Он глухо застонал:

— А я? — растерянно пробормотал он и оглянулся, спрашивая совета. Но двор был до гулкости пуст. Светили окна. — Что буду делать я? — прошептал он. — Как мне разговаривать, как вести себя, зная, что ее скоро не станет? Чтоб она ни о чем не догадалась? Притворяться? Только бы хватило сил.

Медленно, держась за перила, Павел поднялся на второй этаж, подошел к знакомой двери, прислушался, протянул и пугливо отдернул руку. «Я же не знаю, что она дома. Откуда мне знать? Я сегодня в больнице не был. Я был на совещании... Я часто приходил поздно. Она знает».

Он открыл дверь. Она стояла посреди прихожей, красивая, в своем лучшем платье.

— Ты?! — насилия себя, воскликнул он как можно удивленней.— Вера! Тебя выписали?

Она весело рассмеялась:

— Я! — шагнула, доверчиво прижалась к нему и, пряча лицо на его шее, прошептала: — Соскучился?

— Очень, — выдохнул он.

Она и раньше встречала его так, но раньше это было привычно, и он полуслыша, полу серьезно говорил: «Ну вот, разнежилась». А сейчас ему хотелось стоять вот так долго-долго. Он вдруг понял, что, может быть, стоит с ней так последний раз, что это, может, никогда больше не повторится, и он, как тогда, в первые месяцы совместной жизни, мягко и крепко обнял ее.

От ее волос пахло лекарством — запахом беды. Что-то упруго, до слез в глазах, перехлестнуло сердце, горло, и он невольно погладил ее волосы, чего никогда не делал за последние годы, считая это ненужной сентиментальностью.

— Соскучился? — она взглянула на него, и он увидел припудренные синяки под ее глазами.

— Очень.

— Я тоже.

Она мягко отстранилась, засуетилась:

— Ты голоден, наверное. Раздевайся.

Медленно раздеваясь, он смотрел, как она суетилась на кухне, и невольно поймал себя на мысли, что старается отыскать в ней что-нибудь незнакомое: в поведении, в движени-ях — и не находил. Она так же неторопливо, наморщив лоб и закусив губу, накрывала на стол, послюнивши палец, притронулась к стоящей на газовой плите кастрюле. И вдруг поймал себя на том, что вот это движение видит в первый раз.

— Ну, за мое благополучное возвращение, — весело сказала она, поднимая рюмку.

— А тебе можно?

— Это почему нельзя? — тряхнула она головой. — Раз я здорова. Мне сейчас все можно. Вот возьму и напьюсь. Как ты тогда, помнишь?..

Она говорила и говорила, рассказывая о знакомых по больнице, о лечащем враче, о том, кто навещал ее...

— А ты чего это такой? — неожиданно замолчав, обеспокоенно спросила она. — Заболел?

— Это я-то заболел? — он вымученно улыбнулся. — Устал просто. Работы... — он провел рукой по горлу. — Знаешь...

И он стал врать, стараясь говорить как можно убедительней. Она слушала, подперев ладонью щеку, улыбаясь, хмурясь...

— Сегодня, ради твоего возвращения, посуду мою я, — сказал Павел, когда они встали из-за стола.

— А может, заодно и полы вымоешь? — она лукаво сощурилась.

— И вымою.

Он мыл посуду. Намыленные тарелки скользили в руках, и одна, упав на пол, разбилась.

— К счастью, — торопливо сказал он. — Посуда бьется только к счастью.

— Давай еще одну, — быстро согласилась она. — Только нечаянно.

Но нечаянно не получалось.

Она спала. Он с беспокойством прислушивался к ее дыханию. Она дышала глубоко, ровно. В спальне было тепло и тихо. Голубой свет уличного фонаря, процеживаясь сквозь тюль, наполнял комнату хилым светом, и висевшее на противоположной стене зеркало казалось болотной лужицей. Деловито тикал будильник. Он осторожно повернулся лицом к ней. Она сладко почмокала губами, вздохнула и привычно положила голову на его плечо. Ему вдруг захотелось крепко-крепко прижать ее к себе. Прижать так, чтобы она вошла в него, чтобы они стали одним целым. И это желание было таким сильным, что он, зная, что она просыпается от малейшего прикосновения, закрыл глаза, сделав

вид, что спит, и осторожно прижал ее к себе. Он долго держал ее так, а когда отпустил, она обняла его за шею, вздохнула и затихла...

Утром, проснувшись, он хотел встать первым, но потом передумал: «Надо, чтобы все было так же, как и раньше». Когда зазвенел будильник, он не пошевелился. Сквозь смеющиеся ресницы видел, как она, сонная, медленно встала и, шлепая по полу стоптанными тапочками, пошла на кухню. Услышал шум льющейся воды, звон стаканов.

«Мне же на работу,— со страхом подумал он.— Меня целый день не будет дома. А врач сказал, что это может случиться в любой момент, в любой момент...»

— Может, мне отпуск взять? — лениво протянул, он, когда они завтракали.— Устал как черт.

— Отпуск? Весной? Ты что? — она округлила глаза.— Мы же договаривались, что пойдем летом. И не выдумывай. Месяц остался. В конце июня возьми.

— Можно и в конце июня,— неохотно согласился он, вставая из-за стола.— Ну, а ты что делать будешь?

— Я? — она махнула рукой.— Дел хватит. Квартиру убрать, по магазинам походить. Знаешь, как я по магазинам соскучилась. Вот сейчас сниму все деньги с книжки и распрачу.

— Трать, — кивнул он.

— А на отпуск?

— А на отпуск оставь.

— На обед придешь?

— Наверное. Как работа.

— Приходи. Я что-нибудь скрою.

Время до обеденного перерыва тянулось медленно. Павел с ненавистью смотрел на стрелки — они казались приклеенными. До мой бежал... Перепрыгивая через ступеньки, взбежал на этаж, позвонил. За дверью было тихо. Чувствуя, как холодаеет сердце, торопливо воткнул ключ в замок. В квартире было тихо. Вкусно пахло едой. Ему захотелось закричать: «Вера!», но он сдержался и окликнул негромко. Из комнаты послышался скрип кровати, шаги, и на пороге прихожей появилась она, заспанная:

— А я приуستала что-то. С непривычки. Все кости болят. — Приподнявшись на цыпочки, поцеловала его и, осторожно ступая, прошла на кухню.

— По магазинам ходила? — спросил он, повеселев.

— Ходила, — она обернулась. — Полчаса в очередиостояла, сапожки хотела купить и, как назло, не досталось. Зато, — она прошла в комнату, на пороге поманила пальцем, — смотри, что я тебе купила. Нравится?

— Нравится.

— Носи на здоровье. Еле достала. А правда, красивая? К ней любой галстук подойдет. И еще я купила книгу. Знаешь, какую? Блока!

— Ну, ты у меня молодец!

Прошла неделя, прошло две недели, месяц. Она была такой же. «А может, врачи ошиблись? — все чаще думал он. — Не боги же они, в конце-то концов!»

Она умерла, когда он был на работе. После похорон он много дней не ночевал дома. Когда вернулся, в квартире было пусто. Он

постоял, сел на диван. Диван был старый, и на нем еще была вмятина от ее тела, а на подлокотнике лежал томик Блока. Бездумно он взял его в руки, перелистал. И увидел листок.

«Милый Паша, я скоро умру...»

Он глухо застонал и вцепился пальцами в диван, в то место, где она обычно сидела...

ЗАЯВЛЕНИЕ

Участковому инспектору старшему лейтенанту милиции деревни Огарьши Груздеву Семену Гавриловичу от жителя этой же самой деревни Петра Алексеевича Рябухи.

Заявление

(Прошу Вас прочесть мое заявление со всей внимательностью и как представителю советского закона в нашей деревне отнестись к нему со всей ответственностью).

Обращаю Ваше внимание, а вместе с Вами и наш советский закон, на аморальное поведение жителя нашей деревни Брылина Ивана Сергеевича, 1945 года рождения, женатого, имеющего двоих детей и проживающего на улице Зеленої, дом 21, за углом магазина.

Знакомы мы с ним давно, но друзьями нас никто назвать не может. Окно моей избы, а именно кухонное, смотрит на его двор, и мне, как человеку, живущему заботами своей семьи, по вечерам все хорошо видно

и слышно. То, что товарищ Брылин человек аморальный, я бы даже сказал, желчный и жестокий и, я бы даже сказал, ставящий себя выше общества, я заметил в день похорон вам хорошо известной старухи Лебяжьихи. Все мы, а именно свободные от работы жители деревни, стояли у старухиной избы, разговаривали, ну и, как и положено, жалели. Брылин подошел, скривил рожу и сказал с этакой противной ухмылкой: «Жалеть пришли?» — «Можешь себе представить,— сказал я,— пришли. Человек же». А он громко, с едким хохотом: «Жалельщики, чтоб вас... Что ж вы ее не жалели, когда она жива была. А тут. Тыфу на вас», — сплюнул и ушел. Конечно, в его словах есть доля правды, но ведь надо иметь хотя бы элементарную человеческую совесть, такт. А то оскорблениe всей деревне. Он, значит, хороший, а остальные, извините, просто дрянные люди.

Следующий случай, при котором я был свидетелем и который могу подтвердить всем народно, произошел в магазине, в тот день, когда завезли японские кофточки стоимостью 55 рублей 83 копейки. Народу, как вы сами понимаете, было много. Магазин наш маленький, а женщины наши поорать умеют. Заходит он в магазин, постоял и тоже громко (обратите внимание: громко) сказал: «Женщины! Красота земли, слабость, матери, а из-за куска тряпки глотки друг другу перегрызть готовы» — и ушел, словно и не было его. Я понимаю, что и в этом есть доля правды, но зачем говорить вслух, оставь свое мнение при себе, к тому же, если его у тебя не спрашивают.

Следующий случай, который, честно говоря, и заставил меня сесть за это письмо, произошел вчера, при свидетелях, которые, я надеюсь, смогут подтвердить это. Я сидел дома, когда услышал в его дворе шум. Я вышел на крыльце и увидел, что из избы выбегает жена, а следом он с веревкой в руке и кричит: «Губы мажешь, пудрой присыпаешься, а мужику пожрать готовить не желаешь, зажралась...» — и ее веревкой по спине, по спине. Она в крик — и за калитку. Он веревку бросил, сунул руки в карманы, плюнул в ее сторону и сел на скамейку. Я вхожу в его двор и говорю вежливо: «Нехорошо мужчине бить женщину». А он на меня этак презрительно посмотрел и говорит: «Дур били, бьют и бить будут». А я ему: «На это в нашем советском законе есть соответствующая статья». А он мне: «Пошел ты со своей статьей...» — и послал туда, куда я, как человек воспитанный, пойти не могу и написать на бумаге стыжусь. Я это стерпел и говорю, что это оскорбление. А он говорит: «Если у тебя есть сердце, если ты мужик, а не тряпка, то поймешь меня и не будешь здесь стоять и сопли размазывать, и совать нос, куда тебя не просят». А я ему: «Сердце, если здраво, ничего больше как кусок мяса, жизненно важный для организма, а то, что я мужчина, не может быть сомнений». Он встает, окидывает меня с ног до головы и произносит: «А это мы сейчас посмотрим: мужчина ли ты, и сердце ли у тебя или, как ты выражался, кусок мяса». Подходит и бьет меня по левой щеке ладонью. Я, как человек физически сильнее его, мог ответить, но не отве-

тил, потому как ударить человека считаю оскорблением человеческого «я». Так мы расстались. Когда я покидал его двор, он мне крикнул вслед: «Ты и сам-то кусок мяса!», на что я никак не среагировал, потому как кругом уже стояли любопытные, а завязывать бесполезный спор с человеком, которому не место среди честных людей, я посчитал ниже своего достоинства.

Вот и все, что я хотел вам сообщить.

С уважением к вам и нашему советскому закону *Петр Алексеевич Рябуха*.

ДЯДЯ ФЕДЯ

Дядя Федя живет в небольшой деревушке, притулившейся на берегу Рендерского озера. Когда-то здесь было много народу, но во время советско-финской войны деревня погорела, да так и не отстроилась. Сейчас в ней насчитывается пяток «пожилых» изб, среди которых выгодно выделяется новый дом Федора Игнатьевича.

Дом стоит на отшибе, в самом дальнем конце деревни, возле веселого соснового кряжа. Под его защитой расположился огород, где процветает картошка и бродят задумчивые куры. В огороде же, на луговинке, возвышается стожок сена. Рядом стоят вешала для сетей. Если пройти огород и спуститься к небольшому мыску, можно увидеть пристань, состоящую из одной длинной доски. Возле нее обычно болтаются две-три лодки. За домом раскинулись сухие вересковые и сосновые

вые перелески, прогалины, заросшие бес-
смертником, тимофеевкой, одуванчиками.

Дом дяди Феди сложен из добрых сосно-
вых бревен, крыша крыта тесом в два ряда.
Окна смотрят на юг, восток и запад. С севера
пристроена хлевушка. Над нею просторный
сенник.

Внутренность дома незатейлива. В доме
всего одна комната, правда, очень большая.
Четверть ее занимает великолепная печь —
гордость каждого исконного карела. За печью
стоят две кровати. В красном углу вместо
икон на полочке — батарейный приемник «Ро-
дина». Под ним — трехметровый простой стол.
Вдоль стен — крепкие сосновые лавки. Ближе
к порогу, у окошка, — маленький кухонный
стол. Левый угол комнаты занят сундуками.
На стенах — дешевые репродукции из журна-
лов, фотографии в общей рамке, рыжие недо-
вязанные сети. Пол грубый, некрашеный. Та-
ков же и потолок. Дядя Федя, так же как
и вся его немалая семья, очень гордится сво-
им домом.

Хозяин дома — старый местный карел.
Старый — не совсем точно. Дяде Феде лет 58.
Но когда смотришь на его морщинистое по-
движное лицо, слушаешь его нескончаемые
рассказы о стародавних временах, побываль-
щины, видишь его руки, делавшие разную ра-
боту, поневоле думаешь, что пожил человек
немало.

Дядя Федя среднего роста, плотный, но
очень подвижный. Когда он в духе, работа
у него идет сама собой. Любо смотреть, как
молниеносно мечет он с кормы тонкие ряпуш-
ковые сети. А как он действует топором!

Лицо дяди Феди примечательное. Весе-
лый, пытливый блеск так и прыгает бесенком
в светлых глазах, морщины беспрерывно
двигаются, складываясь то в ехидную усмеш-
ку, то в добродушную улыбку, рот закрывает-
ся редко. Хитринка, старая, крестьянская,
сквозит в движениях, в голосе, в улыбке.

Характер дяди Феди соответствует его об-
лику. Он непоседа, вольный казак. Очень раз-
вито в нем чувство собственной значимости,
личной свободы. На кривой Федора Игнатье-
вича не объедешь. Он никогда не признает
чье-либо превосходства, не выносит поэтому
начальствующих, а отсюда не может ужиться
ни на одной работе долго. Чувство личной
свободы, в понимании дяди Феди, осталось
у него от старых вольных хозяев, живших на
отдаленных хуторах и не знавших над собой
никакой власти.

Дядя Федя страстью любит природу, при-
чем природу старую, нетронутую: нерубленые
леса с непуганой птицей, девственные озера.
Наступление новой жизни пугает дядю Федю
прежде всего ломкой старого, привычного,
к чему он прирос и прикипел душой. Когда
в десяти километрах от деревни образовался
лесопункт, дядя Федя всполошился не на
штуку.

— Ну, конец теперь рыбалке, — говорил
он. — Шуму, треску, озеро испоганят, птицу
разгонят.

Приходили вести, что в новом поселке
появились магазины, клуб, электричество.
Люди хорошо зарабатывают. Дядя Федя хму-
ро качал головой и категорически отказывал-
ся поступить туда на работу. Ходил в поселок

только за продуктами. А когда пошли слухи, что лесопункт начнет валить лес в районе Рендерского озера, дядя Федя плюнул на все, продал старую избу и уехал в самую глухую деревушку района Мяряндуксу. Слухи не подтвердились. Выдержав характер, дядя Федя год прожил в добровольном изгнании и вернулся. Тогда-то и сколотил новый дом. Скоро лесорубы откочевали в дальние квартиры, и дядя Федя воспрянул. Сменив ряд профессий, он в конце концов подрядился делать лодки для химлесхоза. Зимой изготавлял лыжи для подсочников. Дело пришлось ему по душе.

А работать он умеет. Руки дяди Феди могут за месяц смастерить отличную лодку или выдать десятка два широких смоленых лыж. Может он срубить избу и сложить печь, сметать стог и сделать ложе для ружья — да чего не умеет Федор Игнатьевич! Золотые руки. Дядя Федя знает это и, как говорится, не прочь иногда и покуряжиться. Вот он работает, работает — и задумывается. Жена его, Глафира Ерофеевна, хорошо знает, к чему ведет такая задумчивость, и вздыхает. Действительно, через час-другой дядя Федя вытыкает топор в бревно, переодевается и исчезает под благовидным предлогом. Раздобыв денег (кто не ссудит нужному человеку?), дядя Федя пускается в «загул». Летят заработанные рубли, идут на сторону лодки, берутся немыслимые заказы и авансы. А все потому, что «душа так желает».

Душе дядя Федя никогда не прекословит. «Гудит» он, по его выражению,шибко. Иной раз десять дней подряд. Возвращается домой

мрачный, терпеливо сносит попреки жены и снова впрягается в работу.

Жена дяди Феди под стать ему. Не зря прожил с ней Федор Игнатьевич добрых два десятка лет, народил семерых детей. Глафира Ерофеевна — тихая, приветливая — хорошо знает мужа. По мере сил она старается не выпускать его из-под руки, но коль так вышло, спокойно несет одна все тяготы хозяйства. За все это дядя Федя ценит подругу и, выпивши, обязательно во всеуслышание объявляет об этом.

Родные места дядя Федя любит искренне. Здесь он поэт. Часами можно слушать его повествования о повадках птиц и зверей, о «характерах» разных деревьев, о глухих озерах с черной рыбой. Это вторая страсть дяди Феди. Когда она обуревает его, работа опять летит к черту.

— Слыши, Борька, — вдруг говорит он мне. — На Ринге видел пяток выводков. Поднимается, понимаешь, селезень — аж сало с него каплет!

И вот мы уже плывем по извилистой речке Ринге.

Через пару дней дядя Федя вспоминает заветную Белую ламбу, где водятся трехфунтовые окуньи. И опять зря наведываются к нему заказчики. Затем ни с того ни с сего решает ехать в Сяргозеро — посмотреть лебедей. Увлекательная поездка, но проку ни на гроши.

А в иных случаях дядя Федя хорошо знает цену копейке и рабочему дню. Тогда он и мыслит не так.

— Поедем-ка, Борька, спустим сетку, а завтра ряпушки поедим.

Едим сколько влезает, и на базар отправляется корзинка.

Рассказывает Федор Игнатьевич любопытно. По-русски говорит он чисто, лишь иногда допуская характерную для карелов оплошность — путая род предметов. Так, иногда, провожая взглядом сорвавшуюся с перемета щуку, дядя Федя сокрушенно вздыхает:

— Ушел, сволочь.

В августе прошлого года мы рыбачили с Федором Игнатьевичем на Рингозере. Название этого озера происходит от карельского слова. Как пояснил дядя Федя, на озеро садилось несметное количество перелетной водоплавающей птицы: гуси, лебеди, казарки, гоголи, чернеть, гагары, кряквы. От скопления их над озером не смолкла разноголосица. По второму варианту, название произошло от вечного шума рингозерской волны. Любой ветер разводит на этом мелком озере крупную рябь, бьющую в берега. Вода в Рингозере красноватая, теплая. Хороша крупная рингозерская ряпушка.

Порыбачили мы неплохо. В светлых сумерках причалили к песчаному берегу. Над нами, величаво перекликаясь, протянулась вереница гусей, и строгая тишина окутала древнюю землю.

В ГОСТЯХ

У меня выдалось три свободных дня. Конечно же, я двинулся к дяде Феде.

Вот и заветная деревушка на берегу. Заходит солнце, падает роса, тяжелеет пыль на дороге.

Глушу мотороллер под окнами. К стеклам липнут востроглазые девчонки. На крыльце выходит Глафира Ерофеевна, улыбается:

— Добро пожаловать, Боря! Давно не был у нас. Забыл дядю Федю. Проходи, проходи в избу!

В избе темновато — лампы еще не зажигают. Сажусь у окна, осматриваюсь. Хозяйка разводит огонь на шестке, ставит сковороду с рыбой. Уже гудит самовар. Девчонки жмутся к кровати, разглядывая нежданного гостя. Оделяю их конфетами, спрашиваю Глафиру Ерофеевну:

— Хозяин сети ставит?

Она оборачивается, машет рукой:

— Ой, Боря, не говори... Просыпал старый черт, что в Вохтозере праздник, и заладил одно: надо и надо туда. Дело, говорит, есть. Да как закатился в среду — и слуху нет. Третий день одна с ребятами. Ну погоди, сегодня не приедет, сама туда наведаюсь. Я ему, шалыгану, покажу! Я его, бражника, вычу!

Успокаивая хозяйку, думаю, как мне не повезло. Уж коль дядя Федя три дня гуляет, туда же четвертый и пятый пойдут. Незадача. Придется одному завтра рыбачить.

За окнами затемнело. Только озеро, широкое, гладкое, отливает стальным блеском.

После ужина выхожу на двор. Свежесть наполняет грудь. Давно не чувствовал я этих простых и волнующих запахов свежевзрытой земли, мокрых сетей, лесной травы, струганого дерева.

На дворе — белая, новая, несмоленая лодка. Топор торчит в кругляше. К изгороди прислонена лопата. Половина огорода чернеет — картофель там выкопан, на другой смутно желтеет усыхающая ботва. Вижу я и новое: на самом берегу, на крутояре, появилась аккуратная банька.

Мне надо накопать червей на завтра. Беру лопату, обжигаясь в крапиве, лезу в огород, в низинку. Червей там несметная сила, и все толстые, синевато-белые, ленивые, холодные. Почти на ощупь ловлю их. Банка заполняется быстро. Разгибаю заболевшую спину. Неожиданно откуда-то с середины озера раздается раздалая песня:

Pojat ne loikkii
maantien poikki...¹

Голос дяди Феди можно узнать за версту. За версту же можно угадать, что он навеселе, и изрядно. Песня лихо катится по водной глади, отдается в соседнем бору, эхом долеет от дальних берегов. Слышен уже плеск воды, скрип уключин. В избе хлопает дверь. На крыльце выходит Глафира Ерофеевна. Она молчит, сберегая весь запас негодования. Темная лодка, не доходя до берега, застrevает на отмели. Дядя Федя шлепается за борт,

бурлит сапогами, тащит лодку. Пыхтя, лезет на косогор, закуривает в огороде.

— Явился, хозяин, — ядовито начинает жена.

— Глаша, — проникновенно заявляет дядя Федя. — Глаша! Не бранись, Глаша! Ведь я тебя люблю! Глаша! Я уже приехал...

— А то не знали... — продолжает свою линию Глафира Ерофеевна. — Деньги где?

— Глаша! Деньги — сор! Будем живы, наживем! Глаша! Старик гульнул — и все! Могу я гульнуть? Эх-ма!

Дядя Федя топчет мокрыми сапогами, валится на плетень.

— Тьфу, — произносит жена. Дверь хлопает.

— Ишь ты, — бормочет дядя Федя, — не по скусу.

Покачиваясь, он лезет по хлипкой лестнице на чердак. Оттуда еще долго разносятся обрывки песен, что-то грохается, шуршат веники.

Закуриваю на крыльце. Глафира Ерофеевна выглядывает:

— Боря? Тебя он не видел?

— Нет.

— Ну и слава богу! И не показывайся. Знаешь ведь его, опять скажет, угостить надо. Авось завтра отоспится, порыбачите еще. Иди-ка, я тебе в сенях постелила.

Засыпаю под дискантовые ноты комаров, под могучий храп дяди Феди.

Утро было веселое, звонкое. Спускаясь к берегу, я слышал, как на сосновом взгорье драли глотки вороны, как призывающе перекликались в туманной дымке над озером чайки,

¹ Слова из финской народной песни.

как звенел в клети подойник под струями молока. Верхом на коньке бани сидели два плотника, молодые белобрюхие парни, видимо, братья. Топоры в их руках стучали крепко. Золотые щепки взлетали веером. Теплая отлогая волна редко била в борт лодки, перекатывала на дне мелкие песчинки. Из-под руки ловко вывернулся и сиганул в глубь окунишка...

Дядя Федя показался на лестнице в одних лиловых подштанниках. Прищуренные глаза смотрят одобрительно. Заливаемый щедрым солнцем, лохматый, босой, с травинками в шевелюре, он на редкость живописен.

— Затопили ли уже печку? Пустили ли уже весть в небо? — кричит дядя Федя плотникам.

Те улыбаются, отрицательно качают головами, разнобой ствечают:

— Нет еще.

Дядя Федя видит меня.

— Борька, друг ты мой! Вот обрадовал дядю Федю! Я-то думаю, чья тут машина! Я, понимаешь, вчера малость погулял! Молодец, Борька! Ну, теперь мы с тобой дадим жару! Глаша! Гость у нас!

Глафира Ерофеевна выходит из клети, усмехается:

— А то не знаю. Ты-то вчера хорош был, не заметил человека.

— Ну-ну, Глаша. Давай-ка самоварчик, да и того бы... — дядя Федя пристально смотрит на жену.

— Чего тебе еще. Или мало попало за три дня?

— Да гость ведь. Для него. Мне уж не надо.

— Знаю я тебя. Тебе рюмка в рот попадет, и пойдешь по всей деревне!

Дядя Федя мрачнеет, но ненадолго. За завтраком он много ест, потом долго пьет чай, крякая и отдуваясь. Четвертинка-таки появляется на столе. Она, видимо, и производит коренной переворот в мыслях дяди Феди.

— Вот что, Борька, — говорит он, раскуривая тонкую папиросу. — Рыба от нас не уйдет. А давай-ка мы с тобой махнем за грибами. Я, понимаешь, тут парус соорудил, по-прем за милую душу.

— За грибами! — всплескивает руками Глафира Ерофеевна. — Ах ты непутевой. Лодку Аксентию когда сделаешь? Огород не копан. Рыба кончилась.

— Цыц! — говорит дядя Федя, вступая в роль хозяина. — В сельпо за килограмм волниух 20 копеек дают. Привезу тонну — вот и деньги. А Аксентий погодит. Так как, Борька? Там по дороге уток постреляешь.

Это решает дело. Собираемся в два счета. Лодка наполнена корзинами, мешками. Сразу ставим огромный, не по посудине, парус, сшитый из десятка мешков. В самой середине вшито что-то черное, напоминающее старые штаны. Под этим пиратским парусом мы медленно трогаем. Как только выходим из-за берега, ровный ветерок наполняет мешковину, лодка кренится, берет ход. Под днищем всхлипывает вода. Дядя Федя крепит шкот за кормовой выступ. Впереди семь километров спокойного пути. Дядя Федя курит, насты

вает (по рыбаккой примете, свистом вызывают и поддерживают попутный ветер).

Берега Рендерского озера крутые, высокие. Само озеро глубокое, длинное, но узкое. Поэтому особенно опасны здесь сильные восточные и западные ветры. Сжатые берегами, они развиваются бешеную скорость, поднимают свирепую волну.

Дядя Федя правит к западной оконечности озера. Там ряд островов отрезает узкую бухту от основной воды. В бухте этой, а также в соседней ламбушке, за кряжем, охотно отдыхают утки. Ветер крепчает. Уже несколько раз мы черпали бортом пенную воду, край паруса намок, отяжелел. Лихо проносимся между островов — и сразу падает парус. Бухта полна уток. Гогоча, крякая, свистя, хлопая крыльями, вся эта живность поднимается в воздух, мечется. Стреляю, почти не целясь, в самую кучу и, конечно, мажу. Дядя Федя крякает и бахает из своей одностволки. Налетающая утка, крича дурным голосом, сочно шлепается чуть ли не в лодку. Я задет за живое. Сдерживая дыхание, чувствую, как кровь бросается в лицо, туманит глаза, веду стволами за парой уток, налетающих сбоку. Бац! Бац! Одна птица наклонно падает вниз, другая делает «свечку» и рушится вертикально.

— Ага! — вопит дядя Федя. — Крякнулись!

Радостно переговариваясь, подбираем добычу. Бухта опустела. Откуда-то взявшиеся, летят одинокий нырок. Стреляет дядя Федя. Бездымный порох дает негромкий выстрел. Почти тотчас слышу, как дробь хлещет по нырку: так-так-так! Однако нырок, не изме-

няя курса, не дрогнув, летит вперед. Лицо дяди Феди вытягивается:

— Смазал... — говорю я.

— Да нет, попал!

— А чего же он?

— Умирать пошел!..

Следим за удаляющимся нырком. С полного хода он врезается в сосну. Вот это да!

— Вот какой гордый, — рассуждает дядя Федя, — не видит уж ничего, а лететь надо.

Подбираем «гордого» нырка. Он порядочно разбился.

Рендерское озеро здесь кончается. Рядом, в каких-нибудь ста метрах, лежит Сяргозеро. Соединяет оба озера канава. Выкопана она, по словам дяди Феди, чуть ли не при Петре Первом. Предпримчивый царь что-то сплавлял здесь — то ли добрую карельскую древесину, то ли железную руду. Берега канавы заросли березами. Вдоль отвалов строем стоят красноголовые подосиновики, белые и коричневые подберезовики, скромные конопатые волнушки, хулиганистые, нахальные муходоры. Ветви берез, ивняка закрывают канал сверху. Пробираемся, сбивая мачтой осенние листья.

Сяргозеро встречает очередным утиным переполохом. Опять оживленно говорят ружья, но впустую. Впрочем, теперь мы не обижаемся.

— А ну их, — презрительно машет рукой дядя Федя. — Солить, что ли.

Снова разворачиваем наш пиратский парус. Ветер подхватывает не на шутку. Делая около тридцати километров в час, мы, чудом

не напоровшись на топляк, вихрем влетаем в речку Кулан. Здесь пришлось налечь на весла.

Кулан-река течет по болоту. Течение в ней тихое, вода глубокая, черная. Больше всего меня бесят повороты на этой реке. Только что обогнали ивовый куст, проплыли еще с километр и глядь — опять у того же куста, но с другой стороны.

Намотавшись до кружения головы, причалили к высокому кряжу, поросшему осинником, березами. Тут заветные места дяди Феди. Я развозжу костер, дядя Федя уходит на промысел. Его не на шутку охватила «грибная лихорадка». Сначала он довольно спокойно приносил корзины волнушек и высыпал их в мешки. Через час он уже бегал, покрикивая:

— Ну, Борька, живем, грибов тут — сапогами дави!

К вечеру он буквально летал, тяжело дыша, собирая волнушки и грузди охапками. Я сварил котелок белых с картошкой, заправил их маслом, подстрелил пару рябчиков и в сумерках вернулся к костру. Дядя Федя не было, только треск раздавался в лесу. Вернулся он уже в полной темноте и завздыхал, ощупывая поясницу:

— Вот черт, рано стемнело. Еще бы пособирал. Да... Ну, давай пожуем.

Наутро я был просто пришиблен результатами его трудов. Целый час мы таскали в лодку мешки. Когда они кончились, дядя Федя повел меня в лес, и там я увидел целую гору волнух.

— А это как? — горестно задумался дядя Федя. — А ничего, Борька, мы их так насыпем, гуртом.

Садились мы в лодку осторожно. Вместительная, она чуть не тонула под тяжким грузом. Ноги наши вязли в ломких, пахучих грибах; чтобы сесть, приходилось очищать скамьи.

Поздно вечером, на веслах, доползли мы до дома. Пахнущие осенью, лесом и потом, мы чего-то поели и выпили.

Спал я восемнадцать часов...

В НЕНАСТЬЕ

Когда затяжной дождь сечет воду и лес, когда северный ветер гонит беспросветные тучи, лучше всего сидеть в избе и слушать нескончаемые побывальщины дяди Феди.

Глафира Ерофеевна месит тесто для калиток, детишки тихо играют в уголке, из радиоприемника несется джазовая петрушка. Притоптывая ногой в такт ей, дядя Федя в старых очках, в латанных портках, в черной рубашке пристально разглядывает сетку.

— Гм... — безо всякого вступления начинает он. — Значит, было в старое время... Жил у нас один мужик на хуторе. И вот случилось такое дело: как двенадцать часов — и начинают у него овцы в хлеву по стенкам бегать. Ну так и чешут!

Дядя Федя недоуменно смотрит на нас — вот, мол, задача. А в глазах искорки. Откусывает нитку:

— Что за притча? Не иначе, домовой. Позвали попа. Тот походил, рясой помахал, вородой побрызгал — сгинь, нечистая сила! Дал ему мужик рубль, думает, все, значит, в порядке. Приходит ночь. Мужик не спит. Слышит, опять овцы понеслись. Орут, да так жалобно. А выйти, понимаешь, боязно. Всю ночь такая заваруха. Овцы, понимаешь, худеть стали. Только запирают их, они уже беспокоятся, переживаются. Да... В аккурат приходят тут два добрых молодца. «Что, — говорят, — у тебя, слыхали, домовой объявился? Ну-тка мы посмотрим, что это за домовой». И как овец запирать стали, ребята с ними остались. Сидят, значит, в темноте. Время идет к двенадцати...

Дядя Федя делает рассчитанную паузу. С кровати блестят огромные глаза детишек. Они обнялись, замерли. Глафира Ерофеевна тоже опустилась на скамью, слушает.

— Сидят ребята. Вдруг — что такое! Забегали овцы, да все кругом, да все кругом, да все быстрее да быстрее! Ах ты пропасть! А надо сказать, что окошко в хлеву было врвень с землей, низко, понимаешь. И вот один молодец глядит — вроде бы в окошке чернеет что-то. Он шасть туда! Рукой — цоп!

— Ага! — кричит, — попался.

Другой-то ему: кто, мол?

— А леший его знает, вроде хвост держу.

— Так ты, Ванюха, постой, я сейчас огонь вздую!

Вздули огонь, глядят — хвост в окне, по виду волчий. А дальше ничего не видать — окно-то маленькое. Ну, один с топором бежит на улицу, а другой держит. Хвост-то трещит,

трещит... Так что ты думаешь? Ведь какой хитрый волк был! Удумал: так, дескать, овец не достанешь, ну и решил по-другому. Хвост сунет в окно и вертеть начнет. Овца духу боится, дуреет, а он ждет, когда она двери высадит. Да. Но обиды не перенес. Не послел парень его топором уважить, подох волк от огорчения. Ну ясно, обиделся: такого зверя — и за хвост, как шавку поганую. Вот, брат.

Дядя Федя молчит, глядя в окно, потом начинает снова:

— Или такой случай... Годов тридцать назад завелся у нас в округе медведь. Такой прохиндей был — страх! У кого корову задерет, у кого овцу. А то ночью сено разметет — собирай, мол! Бабу в лесу встретит — всю одежду порвет, да так и отпустит в срамном виде. Лихой медведь был. Ходили на него мужики с ружьями, так он одного окалечил, другие едва ноги унесли. Боялась его вся деревня. В лес, повериши, ходить не стали и коров не пускали. Разорение мужикам. Овес топчет, ходу не дает. Жил у нас в ту пору один старик. Считали его башковитым. Ну вот, как донял мужиков медведь вконец, пошли к старику, поклонились — не присоветуешь ли чего? А он им и дает такой наказ: «Вы, ребятки, возьмите-ка выдолбите колоду хорошую. А потом, с богом, налейте туда ведра два водки да ведро меду. Опосля, братцы, несите колоду в лес. Мед он учуяет — придет. А как налакается да охмелеет, вы его, разбойника, и вяжите». Ага. Наши мужики все это сообразили. Положили колоду на горку, сами заслегли и смотрят, что будет. Вот ночью мед-

ведь и прется, мед он, собака, за десять верст чует. Хлебнул — понравилось. И учал жмать. Ну, соответственно, окосел, стал прыгать, значит, реветь, лапами махать.

— Вроде тебя пьяного,— не удерживается Глафира Ерофеевна.

Дядя Федя смотрит на нее, отмахивается: не время, мол.

— Потом Топтыгин спать лег. Храпит — лес гнется. Тут-то мужики и подскочили. Хотели убить, да передумали. А сделали такую шутку: на шею мишке колокол коровий привязали. Да так, что ему лапой не достать. Легли опять под горой, смотрят. Встал медведь. Голова, значит, болит... Потянулся к колоде опохмелиться. А колокол-то: «длинь». Мишка осталенел, слушает. Тихо, понимаешь. Только голову повернул — опять брякнуло. Что такое? Рявкнул со всех сил да как пустится бежать. А колокол заливается. Мишка рявкает да бежит, рявкает да бежит. Бежал, бежал, пал в болото. Отдышался. Только встал — «длинь». С той поры не было у него житья. Хочет подкрасться к стаду, а пастухи тут как тут, собаки лают. Никакой дичины не может промыслить. Все звон этот. Захирел зверь, сумной стал. Все лежал больше. А потом подох. Полагать надо, от нервов.

Дядя Федя встряхивает головой, закуривает и заводит про глухариную охоту, про разбойных туйгубских мужиков...

НА УРОСОЗЕРЁ

Мирным солнечным утром мы плывем с дядей Федей по Уросозеру. Нет в Карелии воды чище, чем здесь. Если не трогать весел, кажется, что воды вообще нет, а наш старый дощаник висит каким-то чудом над желтым песчаным дном. Нет красивее, нет богаче Уросозера! Здесь и великолепные золотые пляжи, и поворотистые узкие затоны, где из камыша, суматошно воля, взлетают веселые кряквы, и крутые каменистые берега, поражающие взгляд величием и суворостью, и узкие мысы, поросшие трехсотлетними соснами.

Водится в алмазной воде светлый радужный окунь, толстобокая плотва, изумрудные щуки и славная карельская рыба ряпушка.

Хорошо это озеро еще и тем, что только немногие знают о его существовании, что нет тропинки сюда из-за отдаленности и бездорожья. Лихие орловские рыбаки, ставящие полукилометровые сети, горожане с ружьями, спиннингами, «катюшами», донками и прочими ухищрениями на погибель рыбе не знают сюда дороги. Нет на привольных берегах пепелищ, пустых бутылок и банок, рваных газет, всякого хлама, оскорбляющего вечную чистоту природы.

Наша лодка одна на озере. Дядя Федя, по своему обыкновению, незаметно уклонился от гребли и покуривает на корме, зажав рулевое весло под мышкой. Я, умудренный опытом прежних поездок, не очень-то налегаю на весла.

Благодатно летним утром на Уросозере! Тихо-тихо. Точеная узрокрылая чайка кружит

молча, рыба не плещет, молчат сытые утки.
Молчим и мы.

С берега тянет здоровым запахом бора,
запахом белых грибов.

Лицо дяди Феди благодушно и лукаво.
Как ни говори, а гребу все-таки я...

Долго молчать дядя Федя не умеет.

— Глянь-ко, Борька,— слышу я его хрип-
ловатый голос.

Не меняя позы, он кивает на груду кам-
ней, одиноко торчащих из воды.

— Луда? — догадываюсь я.

— Заприметь-ко. Вот у самых камней как
встанешь — и кидай донку. Окуни, друг мой,
серые. Мы с братом Егором прошлый
год тут стояли — не поверишь, так и дерут!
И все такие колобахи, чистые пороссята. Кор-
зину и кошель накидали за збюю.

Я верю, на сей раз дядя Федя не «загнул».
Об этой луде рассказывал мне и Николай Ти-
мофеевич, рыбак честный, серые, удач-
ливый.

— Борька, Борька,— торопливо шепчет
дядя Федя, — утки! Причесши-ко их!

Наискосок от лодки споро секут воздух
крыльями две чернушки. Соображаю, что не
достану. Откладываю ружье.

— Далеко, дядя Федя.

— А ты лупи, — азартно возражает он, —
хоть страху задай. Пусть наших знают.

Утки садятся далеко, вздымая ало-зелен-
ные фонтаны брызг, бьют крыльями.

— Залобайдали, — констатирует дядя Фе-
дя, сплевывая за борт.

Солнце поднялось уже высоко. Становит-
ся жарко. А ключевая вода Уросозера холода.
Она всегда холода.

Лодка шуршит днищем, останавливается.
Мы молча закуиваем, не выходя из лодки,
вдыхая живительный запах нагретого солн-
цем брусничника.

— Вот здесь, — задумчиво ткнул папиро-
сой дядя Федя, — я убил глухаря в аккурат
под революцию. Мальчишкой тогда был...

За озером можно взревел лесовоз. Загро-
хотал трактор.

— Да-а, — вздохнул дядя Федя. — А те-
перь глухарь откочевал. Не любит он шума,
уходит от людей. Да и то сказать, умираю-
щая птица... Да-а, — еще раз как бы про се-
бя повторил дядя Федя. — Уходит глухарь.
И я за ним...

ПОЛЫНЬЯ

Он сидел за столом, пил чай и слушал
вой непогоды. В избе было тепло. Чуткий
язычок пламени вздрогивал, наполняя избу
серым, мечущимся светом. Неожиданно в из-
бу ворвался шум, язычок пламени шарахнулся,
грозя исчезнуть. Хлопнула дверь, шум
пропал. На пороге стояла женщина. Она
прошла к столу и медленно опустилась на
табурет.

— Что надо? — глухо спросил он, ша-
ря по карманам в поисках курева.

Женщина подняла голову. По ее лицу тек-
ли слезы.

«А может, снег растаял», — подумал он.

Женщина всхлипнула и проговорила, проглатывая окончания слов:

— Андрюшка мой... В лес утром ушел... все нет...

Он сцепил пальцы и, глядя в угол, спросил:

— Куда?

Женщина торопливо объяснила.

— Значит, нужен стал? Вспомнила, — уронил он и криво усмехнулся.

Она опустила голову и ничего не ответила. Он раскурил папиросу, затянулся, сморщился, смял и с ожесточением отбросил. Опираясь рукой о стол, поднялся, прошел к двери и стал одеваться. Женщина не отрываясь следила за каждым его движением. Когда он снял со стены ружье и взялся за дверную ручку, она приподнялась.

— Сиди, — сказал он. — Куда тебе. По лесу обоих тащить, что ли.

Женщина некоторое время смотрела на дверь. Затем встала и подошла к окну. За окном, в тусклом квадрате света, барахтаясь в снегу выюга...

Одно время ей казалось, что она любит его. Но пришел Георгий. Так часто бывает в жизни. Георгий прожил год и ушел. Вольному воля. Женщины говорят, выходи замуж. Хватит. Научена. А зачем ей мужик? Алименты Георгий присыпает хорошие. В праздники — подарки. Значит, не забыл, помнит. Может, вернется еще... Вот лишь бы Андрюшка отыскался. Отыщет. А к кому еще обращаться? Не к кому... Не ее же вина, раз к сердцу не льнет...

Она обвела взглядом избу и на соседнем окне, на подоконнике, увидела конверт. Она взяла его и удивилась. Все знали, что он один на белом свете. Почерк был знакомый. Она оглянулась, развернула письмо и медленно опустилась на табурет. Письмо было от Георгия.

«Привет! — писал он. — Ты, верно, с ума сошел. Мое дело маленькое. Деньги, что ты посылаешь ей для пересылки, я высыпаю аккуратно. Они, верно, у тебя лишние?! И подарки тоже аккуратно отсылаю. Жалко мне тебя, как мужику мужика, да что поделаешь. Ты здорово-то не горюй, еще отыщешь себе настоящую бабу. А к ней не думай свататься, она женщина с норовом. Да и я, если честно признаюсь, женился на ней тебе назло. Помнишь, ты меня на охоте заловил? Я откровенно пишу. Ну ладно, что было, то было. Пора. Георгий».

Рука с письмом упала на колени...

Дверь распахнулась, и на пороге появился ее сын. Она бросилась к нему, обняла и заплакала. Сын уперся руками в ее грудь и, с трудом шевеля посиневшими от холода губами, проговорил:

— Дядя там... Провалился. Сказал, чтоб скорей.

Она выбежала из избы. От избы была хорошо видна речка. Неподалеку от берега темнело черное пятно густой как деготь воды. И над ней голосила выюга...

ЛЕКАРСТВО ДЛЯ МАМЫ

— Мама? — раздался осторожный голос.

Анастасия не отозвалась. Послышался скрип кровати, мягкие шаги. Сквозь ресницы Анастасия увидела выглянувшее из-за двери лицо младшего сына.

— Спит, — прошептал он.

И снова в маленькой соседней комнате послышались сдержанные голоса ее сыновей.

— Устала мама...

Она узнала голос старшего. Некоторое время было тихо.

— Давайте спать. Завтра наговоримся.

Кто-то из сыновей глубоко вздохнул, тяжело повернулся.

— Хорошо как! — вновь послышался голос старшего. — Пахнет домом. И мама рядом.

— Завтра домом займемся. Сарайкой. Уедем же снова. А мама останется.

Это сказал средний, самый молчаливый из троих.

— Может, к себе возьмем? А что?

— Не поедет она, — с сомнением проговорил старший.

— Это почему же не поедет? — запальчиво спросил младший.

— Тише ты! Это тебе не с кафедры выступать, — сердито прошептал старший. — А не поедет, потому что... Впрочем, тебе все равно не понять.

— Это почему же? Ты понимаешь, а я не пойму?

— Я сам не могу объяснить.

— Уговорим!

— Раньше она нас уговаривала, а теперь мы ее. Странно.

Понемногу голоса смолкли, и стало совсем тихо. Лишь сдержанно шумел за окном старый тополь.

Анастасия осторожно встала, подошла к дверям. Еще вчера такая тихая и пустая, комната шумно дышала, ворочалась. Старший спал один. Средний и младший вместе. Она долго смотрела на них. Подошла и мягко поправила одеяло, попцеловала сыновей, как в детстве. Они не проснулись, лишь у каждого легла на лицо улыбка.

Мать постояла и вернулась к себе. Подошла к столу, села на стул. Подперла ладонью щеку.

В окно светила луна. Свет ее отражался на трех маленьких бутылочках, стоявших на комоде. Тяжело поднявшись, подошла к ним. Взяла в руки. Бутылочки негромко звякнули. В них было самое современное лекарство. Так сказали ей сыновья. Бутылочки были прохладные, но вскоре согрелись в ее ладонях. Она прошла с ними к большому сундуку, подняла крышку и положила их под старую шинель мужа.

Негромко, так, как плачут старые люди, всплакнула и снова прошла к детям. Села на лавочку и тихо прошептала:

— Хорошие вы мои...

ОБИДА

Он подошел ко мне, когда я собирался уходить.

— Вы не смогли бы меня выслушать? — робко спросил он и, видя, что я пожимаю плечами, торопливо добавил: — Я вас долго не задержу.

— Пожалуйста, — удивленно протянул я, усаживаясь обратно на скамью.

Он сел рядом, засунул кисти рук меж колен, согнулся. Мимо нас шли люди. В парке было тихо и прохладно.

— Понимаете, — негромко заговорил он, — я очень устал. Я два дня не ночую дома и сегодня еще ничего не ел. Нет, нет, вы не подумайте ничего плохого, — торопливо и, как мне показалось, испуганно добавил он, хотя я не произнес ни единого слова. — Я понимаю, что мое поведение странно. Но мне так тяжело...

«Что он разинулся?» — с неприязнью глядя на его маленькую согбенную фигуру, подумал я и пошевелился.

Ему, видимо, показалось, что я собрался уходить. Он вздрогнул всем телом, быстро взглянул на меня, и я заметил, что у него покрасневшие веки.

— Мне трудно говорить об этом. Вы извините, я сейчас...

Он судорожным движением достал из кармана неопрятного плаща мятую пачку папирос, закурил.

— Знакомые говорят, что я тряпка. Я это и сам знаю, но ничего не могу с собой поделать. Понимаете. Вы бы только знали, как

это страшно... Понимаете, я сейчас никому не нужен. Меня нет, понимаете?

Он всхлипнул. Вытер глаза невесть откуда появившимся платком. Я никогда не видел, как плачут мужчины, и не мог подумать, что на это так неприятно и так тяжело смотреть.

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал я, прикоснувшись к его плечу.

— Да, да! Извините, — пробормотал он. И, спрятав платок, продолжал:

— Понимаете, мне жена изменила.

Я невольно улыбнулся, так как подобные вещи мне уже доводилось слышать.

— С моим другом, — продолжал он, глядя в землю. Он говорил монотонно, устало. — Меня словно кто шилом в сердце ткнул. Сел я на стул, и слов нет. Я думал, жена прощения просить будет, а она просто стоит и молчит... Понимаете, просто стоит и молчит. — Он тяжело повернулся ко мне. — А прожито вместе десять лет. Нежными словами ее называл. Не обижал, не работала. За что она меня так? А? — голос его дрогнул. — Понимаете, — справившись с собой, снова заговорил он. — Жалко себя, дочку. Она же ей не скажет правды. Нет, не скажет. Знакомые женщины говорят: мало ли, жизнь есть жизнь. Ты мужчина, на что она тебе такая. Я понимаю, они правы в чем-то. Но понимаете, если я уйду, то мне нужно будет начинать все сначала... А у меня больше сил нет. Да и ошибиться в жизни может каждый, правда?

— Правда, — подтвердил я неохотно.

— Я б ушел, если б любовь пропала. Но я люблю. Странно, я понимаю. В лицо плюну-

ли, предали, а любовь осталась. И она, наверное, переживает... Как вы думаете?

— Ну конечно,— с неожиданной для самого себя уверенностью сказал я, каким-то шестым чувством догадавшись, что именно такого ответа он ждет от меня.

И я не ошибся. Лицо его ожило. Он засуетился.

— Да, конечно! Она же тоже человек. Кто не ошибается. Спасибо вам. Спасибо.

Я смотрел вслед быстро удаляющейся фигуре и никак не мог понять, чему он обращался...

СЕРЕБРЯНЫЙ МЕДАЛЬОН

В тот год отпуск я проводил в деревне, живя в небольшой комнатушке, которую снял у седого как лунь старика, неразговорчивого и одинокого. Виделись мы с ним редко. Я уходил на рыбалку ни свет ни заря, а возвращался поздно вечером. От появившихся знакомых я узнал, что старику около девяноста лет, что он самый старый житель деревни и что, насколько всем известно, никогда не был женат, что одинок. За неделю рыбалки я изучил озеро вдоль и поперек и редко возвращался без рыбы.

В один из солнечных дней мне посоветовали сходить за форелью, которая, по словам сторожилов, водилась в небольшом ручье недалеку от деревни. Мне объяснили, как туда добраться. Ручей и вправду был неширок. Берега заросли густой высокой травой, вода была удивительно темной, несмотря на откры-

тое место. Я решил пройтись вниз по ручью в надежде отыскать более широкое место. Вскоре появились густо разросшиеся кусты малины вперемежку с крапивой. Пробираться было трудно. К тому же солнце жгло немилосердно. Я проклял погоду, ручей, но возвращаться без улова не хотелось. Продираясь сквозь кусты, я споткнулся и чуть не упал. За кустами стоял сруб. Бревна были трухлявые. По углам сруба висела паутина, а на одном из бревен лежала кучка перьев какой-то птицы с темными пятнами запекшейся крови. Рядом со срубом лежало мельничное колесо. В этом месте ручей был шире, но закидывать было неудобно, и я решил пройти еще немного. Вскоре я вышел на небольшую поляну, посреди которой стояла изба, почерневшая, с пустыми глазницами окон и большими рваными дырами на крыше. В стороне от нее над небольшим заросшим травой холмиком высился покосившийся крест. Было тихо, пахло малиной, крапивой. Я прислонил удочку к стволу березы и, пригибая траву, подошел к могиле. Посередине креста была прибита круглая потускневшая от времени пластинка. Я обтер ее рукавом пиджака и увидел изображение Богородицы, а по кругу — слова с буквой «ять» на конце: «Господи. Да будет воля твоя».

Стало неуютно и тоскливо. Я постоял и подошел к избе. Осторожно поднялся по прогнившим ступеням и вошел. В лицо пахнуло гнилью, холодом. В первой большой комнате стояла печь. Рядом с печью — поржавевший ухват и огромный чугун. В углу темная бочка, стянутая ржавыми обручами.

Я прошел по прогибающимся половицам в другую комнату. Здесь, кроме кровати, ничего не было. Из окна был виден темный еловый лес. Я присел на кровать, потянулся, оторвал висевший кусок обоев и вдруг увидел, как что-то мелькнуло перед глазами, упало на пол. Пригляделся, залез под кровать и достал небольшой серебряный медальон на длинной цепочке. Я обтер его и снова подошел к окну. Медальон был очень красив и своим видом напоминал сплюснутую каплю росы. Я попробовал открыть его ногтем, но ничего не получалось, а открыть ножом побоялся...

В тот день я вернулся в деревню раньше обычного. Стариk сидел на крыльце. Я подошел, поздоровался, сел рядом. Мы долго молчали. Он смотрел куда-то в сторону и беззвучно шевелил губами, словно что-то рассказывая самому себе. Я набрался смелости и спросил:

— Отец! Вы, случайно, не знаете, чья это там изба у ручья?

Стариk медленно повернул в мою сторону хрупенькое тело, пожевал губами и тихо ответил:

— Мельник жил.

— А могила чья? Мельника?

— Дочка его в могиле-то, дочка...

— Болела?

Он покачал головой и, глядя в сторону, заговорил тихо и монотонно, слегка покачиваясь:

— Ручку она себе ножичком полоснула. Антонов огонь и забрал ее, сердечную. Свадьбу мельник назначил. А у нее другой

на сердце был. Наш, деревенский, из бедняков. Они бежать хотели. Она ему и посоветовала. А ему куда бежать-то было, ежели родители старые, брат с сестрой младше... В тот день, когда промеж их этот разговор вышел, она у него прядку волос срезала. На память, сказала...

Он замолчал, поднялся:

— Пойду я. Кости ломит. К непогоде, видать.

Я докурил папиросу и пошел следом. Стариk сидел за столом.

— Слушай, отец! — окликнул я его. — Посмотри, что я сегодня в мельниковской избе нашел.

Я достал из кармана медальон и протянул старику. Он всем телом подался в мою сторону, не сводя глаз с медальона. Я положил медальон в его вздрагивающую ладошку. Он осторожно погладил его и медленно открыл. На стол скользнули две прядки — золотистая и черная. Стариk уронил голову на стол. Тело его мелко затряслось, но я не услышал плача, видел лишь маленькую с пушком белых волос голову старика...

НЕПРАВИЛЬНЫЙ АДРЕС

Когда она вошла, соседки замолчали. Они всегда переставали говорить при ее появлении. Она чувствовала, что они смотрят ей в спину, и долго не могла попасть в замочную скважину.

Войдя в комнату, она включила свет, задернула на окне занавески. Время было не

позднее, но зимой на улице рано темнеет. Поставив на плитку чайник, разделись, села на диван. Ноги ныли. Сегодня, накануне праздника, почты было намного больше обычного. Плитка грела плохо. Женщина откусила кусочек хлеба, подошла к пальто и достала из кармана конверт.

От сегодняшней почты осталось только это письмо, потому что адрес был написан неправильно. Письмо было толстым и, вероятно, очень нужным, но она знала, что по этому адресу проживает одинокая старушка и что величают ее совсем по-другому. Она повернула конверт в руках. Место склейки наполовину отошло. Положив конверт на стол, она заварила чай, налила его в чашку и стала мелкими глотками пить, глядя на конверт...

Она никогда не получала писем, ни в праздники, ни в будни. Всю жизнь она прожила в детдоме, а теперь вот живет одна в этой маленькой и отчего-то всегда холодной комнате. И она знала, почему так. Как-то в одной книге она прочитала, что некрасивую женщину можно понять, но невозможно полюбить, а согласиться с этим не могла. Порой плакала, потому что годы шли, а она по-прежнему оставалась одна. Она никак не могла понять, почему людям кроме доброго сердца нужна еще и красота. «Красота,— говорила ей давнишняя подруга по детдому,— является первой предпосылкой любви». Правда, как-то она получила письмо на свое имя. Сначала она хотела прочесть его сразу там, на почте, но не прочла, а так и проносила целый день в почтовой сумке, маясь неизвест-

ностью, надеждой. Она ждала письма от одного человека, которого любила. Но, вернувшись домой и вскрыв конверт, расплакалась: это было извещение из горсовета.

Напившись чаю, убрала со стола, посмотрела на часы. Было еще рано, чтобы ложиться спать. Обвела взглядом комнату. Конверт лежал на столе. Она взяла его, посмотрела на дверь и осторожно вскрыла письмо, оправдывая себя тем, что, может, по содержанию узнает адресат.

«Здравствуй, Эльвирка! Видишь, я снова тебе пишу. Почему ты молчишь? Ты же знаешь, что я люблю тебя. Неужели этого мало, чтобы ответить?..»

Она положила письмо обратно в конверт, заклеила, оделась и вышла на улицу. Теперь она знала, кому письмо. Адрес был написан почти правильно и лишь номер квартиры перепутан с номером дома. Она знала эту женщину, красивую, всегда модно одетую и также, как и она, незамужнюю. Это удивляло ее. Писем этой женщине приходило много, и все они были написаны одной и той же рукой. Она подошла к фонарю и внимательно рассмотрела почерк. Да! Тот же самый.

Дом, в котором жила эта женщина, был неподалеку. Она поднялась на нужный этаж, позвонила. Голоса за дверью смолкли. Раздались быстрые шаги, и дверь отворилась.

— Вам письмо,— сказала она.

Женщина взяла конверт, взглянула, раздраженно порвала его и бросила в стоявшее рядом с дверью мусорное ведро.

— Кто там, Эльвира? — послышался из квартиры мужской голос.

— Да-а, — равнодушно ответила женщина. — Опять от этого. Надоел уже со своей любовью...

Дверь хлопнула, и все стихло. Лишь рядом с ведром лежал клочок конверта, на котором были первые строчки неправильно написанного адреса...

А-а-а...

Голова разламывалась. Постанывая, она встала с кровати и, держась рукой за стену, прошла в комнату, посмотрела в окно.

На улице было светло и тихо.

«Утро, наверное», — вяло подумала она и, оглядывая стол, уставленный грязной посудой, пустыми бутылками, смутно припомнила, что вчера вечером, когда Нинка со своим хахалем пошла на кухню целоваться, она спрятала бутылку с остатком водки. Но куда? Шевеля губами, пересчитала. Одной не хватало. Пошарила взглядом по комнате, морщась, прошла на кухню, торопливо глотая, напилась из-под крана теплой, отдающей ржавчиной воды и принялась за поиски.

В кухне не было. В комнате жадно засиянула в платяной шкаф, сервант, чертыясь, встала на колени. Бутылка стояла за трюмо. Она повеселела, освободила край стола, вымыла стакан от засохшего на дне вина, приготовила закуску.

Горлышко бутылки было накрыто конвертом. Конверт?! Она повертела его и с трудом

выцарапала из памяти, что вчера, уже выпив, достала из почтового ящика какое-то письмо и даже, кажется, читала его и, читая, то ли смеялась, то ли плакала. Да! Плакала. Она еще плонула в зеркало.

Она посмотрела на трюмо. На нем, на уровне ее лица, засох плевок. Обратного адреса на конверте не было, а ее был отпечатан на машинке. Она заглянула в конверт, достала письмо.

«Здравствуй, Лютика!» — прочитала она и прижала письмо к лицу.

— Господи! — выдохнула она. — Господи... Написал.

«Здравствуй. Ты уж прости меня, дурака, за ту глупую ревность. Прости и приезжай, — читала она сдавленным голосом. — Ты же знаешь, что я так тебя люблю. Я только сейчас понял, как ты мне нужна, как трудно без тебя. Приезжай, пожалуйста, если по-прежнему любишь. Крепко тебя целую, твой Володя».

— Если любишь... О господи!.. — прошептала она жалобно и отчаянно выкрикнула: — Ну зачем?! Зачем ты мне написал? Зачем?

Уронив руки, она долго, не шевелясь, смотрела куда-то.

После его ухода ей стало все безразлично. Сначала она хотела умереть, но это было очень страшно, да к тому же еще теплилась надежда, что он напишет. Она никак не могла поверить, что можно вот так сразу разлюбить и забыть все, что было хорошего. Она ждала. Долго ждала, но он не писал... А потом. Потом она стала пить. Сначала ради компании, потом чтобы стало хоть немножко веселей,

чтобы забыть. Дальше — больше. И как-то, пьяная, отдалась другому. И если порой сердце испуганно шептало: «Что ты делаешь, Люда, опомнись!», махала рукой, тянула:

— А-а-а...

И с каждым разом это «А-а-а» становилось тягучей, равнодушней. И даже ее улыбка, которой он так радовался, которая нравилась многим, стала какой-то испуганной, жалкой.

И вот письмо. Простые, такие простые слова, много раз слышанные ею в кровати от других, с забытой до слез бережностью гладили сердце.

— Я так люблю тебя,— прошептала она,— я так люблю тебя...

Она подошла к трюмо, стерла засохшую слюну. На нее смотрело лицо с дряблыми, безвольными губами, морщинами у глаз. И лишь только слезы чуть-чуть делали его красивым.

«А может,— подумала она,— поехать? Где он живет? — она торопливо заглянула в письмо.— Сибирь. Это далеко. Меня там никто не знает. Меня там никто не назовет Люськой. Напишу, что приеду через полгода. А за полгода... А что?»

Она ясно представила, как он обрадуется, как обнимет, поцелует. Как будет говорить ей хорошие, непустые слова. Как будет ласкать ее и верить, верить, что перед ним его Лютика.

Она застонала, заплакала, уронив голову на край стола:

— Ну зачем я так! Зачем? Ведь любила же... Люблю ведь...

Она плакала горько и долго, сотрясаясь всем телом.

— Ну как я поеду? Как?

«А ты обмань! — промелькнуло в голове.— Ты просто представь, что ничего не было. Ничего. Понимаешь?! А он ничего не узнает!»

Она перестала плакать. Резко подняла голову, закусила губу и, словно пугаясь, что кто-то остановит, быстро налила водку в стакан и, улыбнувшись испуганно-жалкой улыбкой и протянув долгое, потерянное «А-а-а...», спешно, давясь, выпила.

ОТЕЦ

Сын сидит на табурете, опустив кисти рук между колен, уставясь на висящий в углу умывальник, с которого каплет и каплет в грязный таз чистая речная вода.

В избе тихо и светло. За столом, спиной к окну, пряча за ладонями изборожденный морщинами лоб, сидит отец. Он уже все рассказал сыну. Все, кроме одного: как ему больно.

— Если б ты пораньше приехал,— скрывая укор, тихо роняет отец.— Тогда б проводил.

— Не мог, пап. Дорога больно длинная. Я спешил...

— Я знаю, сынок, знаю. Ты не вини себя. Что уж там. На все не поспеть, окромя как умереть.

— Пойдем к нему,— глухо говорит сын, поднимаясь.

— Покушал бы с дороги. Устал, поди, проголодался. Ушицы хочешь?

— Какая ушица, папа.

За калиткой зашагали рядом, касаясь друг друга локтями. Шли серединой улицы, мимо замерзших изб, мимо людей, останавливающихся и провожающих их взглядами. Сын шел, сощурившись, спрятав руки в карманы; отец весь на виду.

У магазина сын остановился, выдавил:

— Здесь?

Отец промолчал.

— Покажи, где...

— Зачем, сынок? — слабо запротестовал отец, стараясь взглянуть в глаза сына, узнатъ, что в них.

— Надо!

Не вытаскивая рук из карманов, сын долго смотрел на небольшой, влажный от щедрой земной воды клочок земли, из которой неудержимым батальоном лезли на свет слабые, но жадные до жизни травинки. Отец стоял в стороне, уронив руки вдоль тела, смотрел на сына, на землю. Кадык у него туго прыгал, как бы сдерживая слезы, готовые появиться на глазах.

— Этот был? — резко и громко спросил сын, ткнув в направлении вышедшего на крыльце магазина мужчины.

Этот был. Отец видел его, когда прибежал и было уже поздно. Он стоял ближе всех, прижимая к груди авоську с хлебом. Был.

— Нет, сынок, — соврал отец. — Этого не было. Ты же его знаешь. Это ж Гришка Пеньтиухов. Он гусеницу от трактора на спор

через весь гараж протащил. Он сильный, он бы заступился. Пойдем, сынок, пойдем... — и тронув сына за локоть, ощутил, как он силен, понял, как немного надо, чтобы избавиться от этой, настоящей на боли, силы.

Шли молча. Дорога была широкой и сверкала лужами. На ветвях торчавших вдоль бровки кустов надрывались от натуги почки.

Кладбище встретило их солнечными зайчиками полированных надгробий, что отражали свет и тепло щедрого солнца.

У ворот отец стянул с головы шапку, показав земле и сыну седую голову. Снял кепку и сын.

Отец пошел впереди, сын следом.

— Здесь он, сынок, — сказал отец, остановившись. — Под этой землицей. Рядом с матерью, — и забыто, неумело перекрестился.

...В избу вернулись, когда солнце, устав глядеть на землю, прilегло где-то.

В избе сын достал из чемодана бутылку водки, словно печать, поставил на стол, выкрикнул:

— За что он его, гад?!

— Люди говорят, заступился Андрюша за жену его, — положив усталые руки на стол, сказал отец, не сводя глаз с сына.

— А что же они, люди, за него не заступились? — резко и яростно спросил сын, белея лицом.

— Бог им судья, сынок.

— Бог! Забудь о боге, отец! Забудь! — проциел сын. — Нет бога у земли. Нет! Человек есть. Человек!

Впервые сын повысил голос на отца, но отец промолчал, вздохнул только да посмотрел.

рел на него, как раньше, строго и пристально. Заговорил, когда помянули рюмкой горькой водки. Заговорил тихо и неторопливо:

— Ты, сын, людей судить не спеши. Разные они, как деревья в лесу. Клянут они себя сейчас за то, что не вступились. И до конца жизни смерть Андрюшину помнить будут.

— Хватит, отец! — перебил сын. — Слышал я уже это...

— Тот-то с топором был. А они... — слабо возразил отец, не глядя на сына. — Жить все хотят.

— А Андрюша не хотел?

— Всяк по-своему прожить хочет, сынок.

— По-разному, — процедил сын.

Замолчали. С улицы донесся веселый смех. Сын вскочил, ринулся к двери.

— А ну сядь!

Голос отца потерял старческую неуверенность, прозвучал жестко и требовательно.

— Завтра уеду, — сказал сын, покорно возвратившись. — Завтра утром. Не могу я здесь.

— Езжай. Потом приедешь, — упавшим голосом сказал отец и, помолчав: — А Андрюшу-то помнить будут...

— Кто? — усмехнулся сын. — Эти? — он мотнул головой в сторону двери.

— Мать детей и дети ее... Отца не будут, а его будут. Смерть, сынок, она всегда жизни стоит. Ложись, поспи.

Сын спал, уткнувшись лицом в подушку. Сын! И отец, сидя за столом, горевал и раздавался...

НА ЛАМБЕ

До ламбы я добрался в первом часу ночи. Она лежала запотевшим зеркалом, была сонной и лишь иногда вздрогивала от всплеска рыбы.

Я решил развести костер, отдохнуть, а уж потом заняться рыбной ловлей. Снял рюкзак и только было собрался за хворостом, как услышал негромкое покашливание, звяканье ведер. Из-за растущих невдалеке кустов на берег вышел человек. Он был высокого роста, в широкополой шляпе, сапогах. Заметив меня, он неторопливо поздоровался.

— Рыбачить? — спросил он.

— Рыбачить, — отозвался я.

— С берега хошь?

— С берега.

Он покачал головой:

— Здесь за двадцать метров от берега и петуху по колено не будет. Лодку надобно. Лодки у меня не было.

Старик переступил с ноги на ногу, предложил:

— Ты это... того. Пошли ко мне. К зорьке, глядишь, что-нибудь и придумаем.

Он шел впереди. Ведра в его руках мягко покачивались. Вода в них то светлела, то темнела. Тропинка егозила между огромных сосен. Вершины их терялись в небе.

Четкий желтый квадрат окна возник неожиданно. Очертания избы с трудом просматривались на фоне темной стены леса.

Старик открыл дверь. Полоса света шагла мне под ноги, отпечатав на земле множество мелких глубоких теней.

— Заходь,— старик показал рукой вглубь избы.

В ней было тепло и пахло рыбой. Она висела на леске, протянутой над грубо сложенной плитой. Добросовестно гудели комары. У окна на столе стояла керосиновая лампа без стекла. Язычок пламени метался из стороны в сторону, грозя исчезнуть. Напротив входной двери, за плитой, стояли две койки. Между ними тумбочка с высокой горкой книг.

— Проходь к столу, садись,— сказал стариик, туго приседая перед плитой.— Я счас огонь раздую.

Он сдвинул на затылок шляпу, набрал в грудь воздуха и, вытянув губы трубочкой, стал дуть. В груди у него посыпалось. Темный квадрат плиты сначала пожелтел, затем порозовел. Внутри ее стало весело потрескивать.

Стариик снял шляпу, пригладил ладошкой редкие, как у ребенка, волосы, сел напротив меня, положив руки на колени.

Свет лампы освещал одну сторону лица, на котором через всю щеку лежал глубокий шрам.

— Это штыком,— перехватив мой взгляд, просто сказал он.— Человек мне штыком в рот метил, да промахнулся. Прости его, господи,— он перекрестился.— А куда это я чай подевал? Совсем памяти не стало. Что давно — то помню, а что рядом... Вот он. Счас чаек пить будем. Ты чаек любишь?

— Люблю.

Он кивнул.

— А вы тут одни живете? — спросил я, глядя, как он сыплет в сложенную лодочкой ладонь чай.

— С Лешкой. Лешка в поселок ушел,— охотно отозвался он.— Сын мой. Тоскливо ему здесь. Да и семью проведать надо.

— Живицу собираете?

— Лешка собирает. А я так, при нем со-стою. Кушать готовлю, рыбу ловлю. Куды мне по лесу бегать. Лес, он крепких любит.

Надсадно ныли комары.

— Скучно ведь одному,— заметил я.— Да и страшновато, наверное?

— Как не скучно. Скучно. Под старость к людям ой как сильно тянет,— сказал он.— А страху, сынок, нету. Откель ему взяться. Лес не обидит. Чего ему меня обижать. Он добрый, доверчивый. Ну чисто как ребенок. Да и страх-то я давно потерял. На войне. Чтоб ей, окаянной,— он сплюнул.

— А что ж в поселок-то не пошли?

— Дорога, сынок, в мои-то годы шибко длинной становится,— сказал он, возвращаясь к столу.

— А сколько вам лет?

Он пожевал губами.

— Дай бог памяти... В саму весну семьдесят шесть приковыляло.

На плите зафыркало, защелкало.

Вскоре мы пили чай из больших алюминиевых кружек. Губы обжигало. Чай был очень крепок. Во рту связывало.

— Глянь-ко, что мне сын подарил! — неожиданно сказал он, отставляя блюдце.— Глянь!

Он достал из кармана маленький тряпочный сверточек, развернул:

— Часы! Виши, одна циферка появилась. Виши — другая. Дорогая вещь, — гордо сказал он, бережно завертывая часы в платок.

— Что ж вы их в карман? — улыбнулся я. — Часы положено на руке носить.

— А мне, сынок, время сейчас без надобности. На кой мне время, — он махнул рукой. — Мне, сынок, главное, утrenнюю зорьку дождаться. Сынка увидать, жену его да внучку, — он рассмеялся, пряча рот за ладошкой: — Внучка-то моя... — он смешно замахал обеими руками. — Что расскажу счас. В прошлую субботу я с Лешкой в поселок пошел. Внучке шишеч там, рыбки принес. Спать с дедом хочу, говорит. Лежу. Она маленькая, тепленькая, ноги мне на живот положила и посапывает. Лежу, чувствую, потекло у меня по животу горячее... Это уже под утро. Встали. Мать спрашивает: «Кто нафурил?» А она серьезно так: «Деда». — Он снова рассмеялся, до слез. Вытирая их рукавом рубашки, спросил: — Чайку налить?

Мы выпили еще по кружке. Квадрат окна посветел.

Когда мы вышли из избы, вершины сосен отчетливо вырисовывались на фоне неба. Гладь ламбы посветлела. Мы прошли немного вдоль берега, нагнувшись, вошли в кусты и очутились в небольшой заводи, где стояла маленькая плоскодонка. Старик прошел на корму. Я оттолкнул лодку, бурунья ногами воду, отвел ее как можно дальше от берега, залез сам. Вода, вспучиваемая веслами, захлестнула густой и тяжелой.

Лодка шла легко, и мы вскоре выплыли из середину ламбы.

Когда я наладил удочки, занялась зорька. Где-то в глубине леса прокуковала кукушка. Берега посветлели. Я посмотрел на старика. Он, как непоседливый ребенок, вертел головой. Лицо у него помолодело, а в глазах прыгали бесенята.

— А вот скажи, — спросил он, лукаво щуря глаза. — Отчего на земле так много зелени?

Я пожал плечами.

— Солнце желтое, небо голубое... Так-то, милок.

Он глубоко вздохнул, сложил руки на коленях. Ладони были сухие, темные, изрезанные ручейками вен. Они лежали спокойно и лишь иногда, словно вспомнив что-то забытое, беспокойно вздрагивали.

— А знаешь, какие мы пели песни тогда?! — громко и с каким-то непонятным мне вызовом спросил он. — Знамя из каждой сшить можно было, — и тихонько, глядя бог знает куда, запел:

Мы ехали шагом, мы мчались в боях...

— Батя-я? — донеслось с берега.

— А-ась? — закричал старик, оборвав песню.

— Давай к берегу-у! — стоящий на берегу мужчина замахал рукой...

— Ты это чегс так рано возвернулся? — спросил старик, когда я подвел лодку к берегу. — Случилось что?

— Да так. Дай, думаю, схожу глину, как ты тут.

— Далеко до поселка? — спросил я.
— Километров пятнадцать, — отозвался мужчина.— Хотите сходить?
— Нет. Поинтересовался просто.
— Пошли, батя,— мужчина взял старика под руку.— Я там тебе гостинцев принес и эту, как ее...
— Маленькую?
— Ее самую.

Я оттолкнул лодку от берега, сел за весла. Было спокойно на земле, ласково, и лишь куковала и куковала кукушка.

ОТКРЫТИЕ

— ...То он змею с двумя головами видел.
— Так бывают же такие,— робко заметила жена.— Ты же сам читал.
— А голубые зайцы? Голубые зайцы тоже бывают? Чего молчишь?
— А может, он и в самом деле видел?
— Ну, знаешь! — Мирон пожал плечами, помолчал и великодушно: — Ладно! Черт с ним, с этим зайцем. Предположим, что он существует и носится сейчас задрав хвост по нашему лесу. Предположим, что в это я с трудом, но поверил. Но поверить в то, что он открыл новую ламбушку,— извини.
— Господи! Какую еще ламбушку?
— А вода в ней розовая-прерозовая, чистая-пречистая,— передразнивая сына, заговорил Мирон.— А по берегам камыш во-от такой,— Мирон вытянул над головой руку, и густой-прегустой. А окуни там — во-о!

он развел руки.— На голый крючок берут, только успевай закидывать.

— Да где же он отыскал такую? — вздохнула жена.

Мирон усмехнулся:

— А вот он мне ее завтра и покажет. Я здесь полдесятка лет лесником работал, почти полста прожил и не открыл, а он... И ведь как рассказывает,— он покачал головой,— пацаны от его рта глаз не отводят. А он старается.

— А может,— неуверенно заговорила жена.— Может...

— Да что ты заладила «может» да «может»,— перебил Мирон.— Все у тебя «может». А вон и твой сын уля идет. Сейчас послушаем.— И, когда сын переступил порог, насмешливо спросил: — Я слышал, что ты новую ламбушку открыл?

— Открыл,— глядя в сторону, обронил сын.

— И вода в ней розовая-прерозовая?
— Розовая.

— Слышала? — Мирон посмотрел на жену.— Розовая в ней вода. А ты — «может». И далеко она, ламбушка-то? За день дойдем?

— Часа за три,— сын шмыгнул носом.
— Слышь, мать, три часа до нее.
Жена вздохнула.

— А вот ежели я сейчас ремень возьму, то до нее и шага не будет. Взять ремень или так признаешься? — Мирон склонил голову к плечу.

— Я правду сказал.

— Правду, значит? — Мирон пристально посмотрел на сына: — А вот мы завтра и узнаем, правду или нет. И учти: если наврал, я тебя так ремнем отхожу... Понял?

— Понял. Когда пойдем-то?

— Как встану — так и пойдем, — обрубил Мирон.

— В девять надо, и чтоб солнце было.

— Это почему? — удивился Мирон.

— Я по солнцу шел. Без солнца мне не найти.

— Ладно.

Утром следующего дня Мирон думал, что сын под каким-либо предлогом откажется пойти, но тот молча встал, поел, оделся и хмуро:

— Пойдем, что ли?

Шагая следом за сыном к лесу, Мирон вдруг почувствовал, что нет в нем той прежней уверенности.

«А может, и в самом деле открыл, — подумал он. — Ведь чем черт не шутит?» — но тут же отогнал эту мысль, вспомнив, что за время работы лесником на полста верст вокруг знает не только каждую ламбушку, но и каждое дерево и, когда сын вошел в лес, примирительно спросил:

— Васька! Признайся, что наврал.

— Не врал я. Чего мне врать-то, если открыл, ежели я в ней окуней тягал. Сам же ел. Забыл, что ли? — сын поддернул штаны, посмотрел на солнце и уверенно свернулся с тропинки в чащобу.

«А я и впрямь окуней ел, — подумал Мирон, продираясь за сыном сквозь густой подсад. — Ну ел. Так что ж из этого? Окуни —

рыба не редкая, в какой хошь ламбе наловить можно».

Сын шел уверенно, то и дело поглядывая на солнце.

— Кто ж тебя сюда потянул? — спросил Мирон, когда они шли вдоль тонкой темной нитки ручья, выоном вертевшейся среди деревьев.

— А заблудился я, — неохотно выдохнул Васька. — Сначала заблудился, а потом ничего.

— Как заблудился? — опешил Мирон.

— А просто, — уронил Васька, не останавливаясь. — Солнце спряталось.

— Ну?

— А потом выглянуло. По солнцу и вышел. Сам же учил, как по солнцу идти.

Мирон шел и оглядывался. Места были знакомые. Вон лежит поваленная наземь непогодой сосна. Он как-то отыхал на ней. Вон здоровенная сушина, еще больше пригнулась к земле. За ней должен быть мелкий осинник — он в нем тогда еще пару рябцов добыл. Так и есть, правда, подрос уже, время, чего там. А за осинником должна быть ламбушка. Точно. Вот впереди за частоколом деревьев заголубело.

— Не эта ли? — насмешливо спросил он.

— Не-е, — Васька махнул рукой. — Этую я давно знаю. На ней берега зыбкие и окуни мелкие, черные. А на той берега крепкие, желтые.

От того, с какой уверенностью это было сказано, Мирон растерялся.

— Далеко еще? — спросил он, нарочно зевнув, шагая вслед за сыном по небольшой, густо заросшей травой поляне.

— Уже рядом. Во-он до той сосны дойдем, — сын показал на торчавшую над всем лесом вершину. — А от нее почти совсем ничего.

Мирон улыбнулся, вспомнив, что, когда возвращался с обхода, вершина этой сосны служила ему ориентиром, вспомнил также, что если взять от нее на запад, то будет ламбушка, у которой крепкий желтый берег.

«Там и отшлепаю, — подумал он без всякой злости. — Загонял отца. Ишь топает!»

Но от сосны сын взял на юг, и Мирон растерялся, так как никакой ламбушки больше припомнить не мог. Память услужливо подсказывала о наличии в том районе клюквенных и морошковых болот, есть там родник, из которого он часто пил воду берестяным ковшиком, да беспредельный лес... И Мирон поверил. Поверил отчего-то с охотой и хотел уже было сказать об этом сыну, и сказал бы, если б тот, обернувшись, не буркнул:

— Уже рядом.

Лицо сына было красным, в укусах комаров, тек пот, а в светлых волосах запутались хвоинки. Но не это удивило Мирона. Глаза! Они блестели непонятной ему, Мирону, гордостью и радостью. Блестели так, словно не было изнурительного и долгого пути. И еще что-то в них было, но что именно, Мирон понять не мог...

Ламбушка появилась неожиданно, словно лес взял и на ладони преподнес ее. Она была небольшой, и берег ее был желт и кренок,

й камыш был, правда, не такой густой и высокий, но был... И вода в ней была самая обыкновенная...

Мирон потер подбородок, невольно хмыкнул и только и нашел, что сказать в ответ на горделивый взгляд сына:

— А и впрямь ламбушка.

— Попробуй воды, — сказал сын. — Вкусная.

Зная, что пить не следует при такой жаре, так как вода помешает обратной дороге, Мирон все же покорно прильнул и пил прохладную, пахнувшую камышом воду.

Обратно возвращались не спеша, стараясь идти рядом. Шли молча. Мирон некося поглядывал на сына, несколько раз порывался что-то спросить, но обрывал себя на полуслове, потому что и сам толком не знал, что сказать, но сказать надо было что-то.

В избе Мирон долго ходил из угла в угол, хмыкал, качал головой, затем, что-то вспомнив, принялся рыться в своем хозяйстве. Рылся долго и наконец из-под груды бумаг извлек потрепанную на сгибах карту. Морща лоб, заводил пальцем, и когда палец уткнулся в крохотное голубое пятнышко, потер руки, распахнул окно, чтобы крикнуть сына, но не крикнул, а долго смотрел, как тот, окруженный мальчишками, рассказывал им о том, как доказал отцу, что открыл ламбушку, и что если они не верят, то пускай спросят у отца, и он подтвердит.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>О. Борисе Кравченко. Юрий Нагибин</i>	3
Закон стройки	6
После совещания	12
Цветные стеклышики	17
Бич	22
Душевнобольной	29
Встреча	34
Письмо от матери	37
Ефремыч	40
Забытое тепло	46
Любка	52
Встреча на дороге	55
Совет	57
Про любовь	60
Нежность	68
Заявление	74
Дядя Федя	77
Полынь	97
Лекарство для мамы	100
Обида	102
Серебряный медальон	104
Неправильный адрес	107
А-а-а...	110
Отец	113
На ламбе	117
Открытие	122

Борис Евгеньевич Кравченко

ЗАБЫТОЕ ТЕПЛО

Рассказы

Редактор *О. А. Петтинен*. Художественный редактор
Р. С. Киселева. Технический редактор *С. М. Палль*.
Корректор *В. А. Ульянкова*.

ИБ № 757

Сдано в набор 10.02.81. Подписано в печать 28.05.81.
Е-03539. Формат бум. 70×90^{1/32}. Типографская № 1. Литература-
турная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 4,68. Уч.-
изд. л. 4,55. Тираж 10 000 экз. Заказ 902. Изд. № 35. Цена 30 к.

Издательство «Карелия». 185610. Петрозаводск, пл.
В. И. Ленина, 1. Типография им. Анохина Управле-
ния по делам издательств, полиграфии и книжной
торговли Совета Министров Карельской АССР. 185630.
Петрозаводск, ул. «Правды», 4.